

# ИЛЬЯ СУСЛОВ

## РАССКАЗЫ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ и других товарищах

Текст подготовлен по материалам  
ТОБЯТОВСКОГО ЗАДАНИЯ  
8 Миллионов, 1981

ЭРМИТАЖ 1981

55927 60.23/4

Илья Суслов

**РАССКАЗЫ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ  
И ДРУГИХ ТОВАРИЩАХ**  
*(Сборник рассказов)*

Ilya Suslov  
**RASSKAZY O TOVARISHCHE STALINE  
I DRUGIKH TOVARISHCHAKH**  
("The Stories about Comrade Stalin  
and Other Comrades"  
Collection of short stories)

Copyright © 1981 by Ilya Suslov  
All rights reserved

**Library of Congress Cataloging in Publication Data**

Suslov, Il'ia Petrovich.

Rasskazy o tovarishche Staline i drugikh tovarishchakh.

I. Title.

PG3488.U73R3

891.73'44

81-6312

ISBN 0-938920-03-0

AACR2

Published by HERMITAGE  
2269 Shadowood  
Ann Arbor, Michigan 48104, USA

**РАССКАЗЫ О ТОВАРИЩЕ**

**СТАЛИНЕ**

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Автору этих строк довелось встречаться с товарищем Сталиным.

Первый раз автор встретился с товарищем Сталиным на Красной площади 1 мая 1949 года. Миллионы демонстрантов проходили мимо Мавзолея, на котором стоял товарищ Сталин. Автор тоже шел в колонне демонстрантов и кричал ура товарищу Сталину. Товарищ Сталин увидел автора в колонне, улыбнулся и отдал ему честь. Потом он наклонился к товарищу Молотову, стоящему рядом с ним на Мавзолее, и что-то шепнул ему, показывая глазами на автора. И товарищ Молотов тоже поднял руку и поприветствовал автора. Автор сказал своему другу Марку, шедшему рядом: "Видал, как товарищ Сталин поздоровался со мной?" "Почему это с тобой?" — обиделся Марк. — "Это он со всеми поздоровался". Автор оставляет на совести своего друга это заблуждение, потому что, как сможет увидеть беспристрастный читатель, с какой это стати товарищ Сталин будет здороваться со всеми в тот момент, когда он ясно видит автора, идущего по Красной площади! Это просто смешно.

Второй раз автор виделся с товарищем Сталиным в театре в 1950 году. Конечно, это был МХАТ, который поставил в те годы грандиозный спектакль под названием "Залп Авроры". То есть, если говорить совершенно честно, автор встретился тогда не с самим товарищем Сталиным, а с артистом, игравшим роль товарища Сталина. Но он был так похож на товарища Сталина, что автор, глубоко переживавший события, происходящие в пьесе, при некоторой доле воображения может сказать, что это был все-таки товарищ Сталин. Спектакль этот был этапным в развитии всего театрального искусства. Ни до, ни после автору не довелось встречаться с таким количеством действующих лиц и их исполнителей. На сцене было около трехсот артистов и статистов. Они играли вождей революции и революционные массы. Если прибавить сюда около пятидесяти зрителей, то станет понятным, что главный герой этой пьесы, товарищ Сталин, вызывал в сердце каждого зрителя (в большинстве своем это были командировочные, считавшие своим долгом по приезду в Москву посетить Третьяковскую галерею, Мавзолей Ленина и

МХАТ) много важных и, я бы сказал, священных чувств. Суть пьесы была такая. Товарищ Сталин говорил выдержки из "Краткого курса истории ВКП/б/", а товарищ Ленин поддерживал товарища Сталина словами: "Совершенно верно, Иосиф Виссарионович!". Например, товарищ Сталин говорил: "Я думаю, что мы начнем революцию 7 ноября по новому стилю, или 25 октября по старому. Как вы думаете, Владимир Ильич?" И Ленин отвечал: "Совершенно верно, Иосиф Виссарионович!" Или товарищ Сталин в присутствии товарища Дзержинского говорил: "С врагами надо поступать по-вражески. Это мы их уничтожим, и до конца!" И Владимир Ильич, мягко гассируя, немедленно отвечал: "Совершенно верно, Иосиф Виссарионович!" Изумительная была пьеса!

Последняя встреча автора с товарищем Сталиным произошла в марте 1953 года в Колонном зале Дома Союзов, куда полузадушенный и растерзанный автор прорвался, чтобы сказать последнее "прости" тому, кто так ласково приветствовал его на Красной площади несколько лет тому назад. Товарищ Сталин лежал в гробу, усыпанном цветами. И все плакали, проходя мимо гроба. И все думали, что жизнь России кончилась со смертью товарища Сталина.

Все это дает автору право записать несколько историй из жизни товарища Сталина. Жизнь его остается загадкой для современников и потомков, потому что никто еще не решился ее описать. Разумеется, товарищ Сталин не рассказывал автору ни одного эпизода, которые вы прочтете ниже. Может быть, товарищ Сталин и хотел бы что-нибудь рассказать автору, но не успел этого сделать. Не рассказывали этих историй автору ни товарищ Молотов, ни товарищ Жданов, ни товарищ Микоян. Товарищ Берия тоже ничего не рассказывал автору. И это не удивительно. Автор не был знаком лично с этими товарищами. С какой это стати стали бы они делиться с автором своими воспоминаниями о товарище Сталине? Даже товарищ Каганович ничего не сказал, а ведь мог бы, наверное, пролить свет на эту любопытную во всех отношениях жизнь.

Но автор сышал эти истории от тех, кому довелось слышать их от других. Поэтому автор не может положить руку на Библию и поклясться, что все изложенное им есть правда, только правда и ничего кроме правды. Но тут на помощь автору пришел социалистический реализм, который автор впитал вместе с молоком матери. Именно метод социалистического реализма дал автору моральное



право, во-первых, записать эти рассказы, а во-вторых, предать их публикации.

Лучшие умы от литературы и искусства бились над расшифровкой этого загадочного термина. Общепринятой была такая формулировка: "Социалистический реализм — это отображение жизни в ее революционном развитии". Но тут задумались лучшие умы партии. Что значит "в революционном развитии"? Какое такое революционное развитие, если каждому ребенку ясно, что "революционное" развитие в России кончилось 7 ноября 1917 года, а потом были и будут только эволюционные переходы от индустриализации к коллективизации, от социализма к коммунизму и так далее. Ведь, чего доброго, можно подумать, что и после Октября возможно какое-то мифическое "революционное" развитие, которое по отношению к событиям 7 ноября будет попросту контрреволюционным! Социалистический реализм очень хорош, только его значение настолько глубоко и сложно, что сформулировать его нет никакой человеческой возможности. Но тут автор берет на себя смелость заявить, что он придумал расшифровку этого термина. И если эта расшифровка удовлетворит лучшие умы в партии, государстве и за рубежом, то автор не прочь бы войти в историю, как человек, додумавшийся до истины. Итак, (будьте внимательны!) социалистический реализм (по автору) можно сформулировать так: "Это могло быть — значит это было". В самом деле, советский народ мог бы жить хорошо — значит он живет хорошо! Разве не в доказательстве этого цель всей литературы, выходящей в СССР?

С этим критерием автор и подошел к "Рассказам о товарище Сталине". Это могло быть с товарищем Сталиным — значит это было! И все! Поэтому все описанное ниже — правда. Абсолютная правда! Чистая правда! С точки зрения социалистического реализма. Читатели, возможно, выскажут свои упреки, что, мол, автор рисует товарища Сталина акварельными, мягкими мазками, что по другим источникам у них сложился иной, более жесткий образ великого вождя. Но автор сразу отбрасывает эти упреки. Во-первых, рассказы эти гуляют по России именно в том виде, как их записал автор, а во-вторых, автор хочет остаться художественно самостоятельным и оставляет за собой право на те краски, которые он нашел в своей палитре. А то, что товарищ Сталин иногда будет казаться в его рассказах человеком, не лишенным чувства юмора, то это — целиком на

совести тех, кто первый рассказал эти истории. А может быть, таково веяние века – некая тоска по товарищу Сталину в определенных кругах, всё вздыхающих по “добрым, старым временам”. А может быть, это следование старой французской пословице: “О мертвых – только хорошее!”

О мертвых только хорошее?

Тишина на кладбище, тишина...

## ЛЕГЕНДА О БАДАЕВЕ

Товарищ Бадаев был депутатом Государственной Думы от фракции большевиков. А может быть, это называлось не фракция, а как-нибудь еще. Автор не ручается. Он изучал историю по советским источникам, поэтому он не вполне, что ли, образованный человек. Итак, Бадаев был большевик очень известный, с дореволюционным стажем. И когда началась "большая чистка", товарищ Бадаев был послан полпредом в одну из западных стран, установивших дипломатические отношения с СССР. Но у него был маленький недостаток: он был пьяница. Ну не совсем пьяница, но он очень любил выпить. Короче говоря, он был алкоголик. И на одном светском рауте товарищ Бадаев, будучи во фраке и при галстуке, упал на пол, в присутствии дипломатического корпуса и представителей государства, к которому он был аккредитован. Конечно, вышло не совсем, что ли, ловко, была даже заминка, но война из-за этого не началась, и все, будто, посмеялись, а потом продолжили свои дипломатические разговорчики о Чемберлене и Лиге Наций, ну, автор не знает, о чем обычно разговаривают послы, не о бабах, конечно.

А Бадаева отнесли в посольство и наутро отправили в Москву.

И собралось Политбюро судить товарища Бадаева.

Товарищ Бадаев сидел на стуле бледный и трезвый, а члены Политбюро вслух обсуждали, что с ним делать, когда он подорвал всю политику и уронил в грязь, на дворцовый паркет всю свою честь пламенного и кристального большевика. И нет ему за это оправдания. И каждый член Политбюро предлагал свой вариант наказания. Один сказал, что он бы с удовольствием кастрировал этого негодяя, другой сказал, что всю кожу с него содрать будет мало, а третий вообще сказал, что им нечего говорить с этим гадом, и пусть с ним лучше поговорит товарищ Ежов (или товарищ Ягода, или еще кто-нибудь, кого автор не знает даже), вот тогда этот сукин сын будет знать, как падать на пол в присутствии капиталистического окружения.

Товарищ Сталин никогда не председательствовал на Политбюро. Он мягко ходил вокруг стола в своих мягких хромовых сапожках и курил свою маленькую трубочку. Он только слушал,



что говорят другие. И вот когда кто-то предложил сию секунду расстрелять товарища Бадаева, чтобы другим неповадно было падать за рубежами страны победившего социализма, товарищ Сталин сказал:

— Разрешено ли будет мне сказать несколько слов?

Председательствовавший товарищ Молотов (или Ворошилов, автор не знает точно) заверил товарища Сталина, что ему будет тут же разрешено.

И товарищ Сталин, попыхивая своей маленькой трубочкой, сказал:

— Тут было несколько предложений, как нам поступить с товарищем Бадаевым. Боюсь, что мы не будем расстреливать товарища Бадаева. И кастрировать его мы тоже не будем. И уж кожу с него мы тем более не снимем. Потому что он старый, заслуженный большевик. Но он болен. То, что он сделал — это болезнь. Болезнь старого заслуженного большевика, именем которого у нас названы заводы и фабрики. Но он очень провинился перед партией и страной. Он, будучи послом в капиталистической стране, упал в пьяном виде и тем самым опозорил имя товарища Бадаева и нашей партии. Поэтому...

Тут товарищ Сталин подошел сзади к товарищу Бадаеву, наклонился к нему и продолжал:

— ...поэтому, будь ты проклят, товарищ Бадаев. Ты поедешь на пивоваренный завод своего имени и будешь работать там до конца своей жизни!

И товарищ Бадаев повалился на пол и стал целовать мягкие хромовые сапожки товарища Сталина, крича:

— Ты что делаешь со мной, Иосиф? Пожалей меня, Иосиф! Как же это я!..

— Нет! — сказал товарищ Сталин. — Будь ты проклят, товарищ Бадаев!

И товарищ Бадаев поехал на пивоваренный завод имени Бадаева и работал там заместителем директора до самой своей смерти.

## ДВОЙНИК

К товарищу Сталину прибежал товарищ Берия и сказал:

— Товарищ Сталин, по Москве ходит ваш двойник. Рост такой же, и возраст, и голос, и усы. Что будем делать, товарищ Сталин?

— Расстрелять! — коротко сказал товарищ Сталин.

— А может быть сбреем усы? — задумчиво спросил товарищ Берия.

— Можно и так, — согласился товарищ Сталин.

## ОБРАЗ ВОЖДЯ

Обычно роль товарища Сталина исполнял артист М. Геловани. Он играл ее и в кино, и в театре. И, конечно, он был очень известный актер. И он поэтому зарвался и стал просить руководителей советского искусства разрешить ему побыть некоторое время рядом с товарищем Сталиным, чтобы, как он выражался, поближе познакомиться с образом великого учителя, чтобы потом еще более правдиво воплощать его в театре и в кино, куда ходят миллионы. Он хотел побывать в Кремле и на одной из загородных дач товарища Сталина. Руководители искусства долго не решались доложить эту просьбу товарищу Сталину. И, наконец, один из них, измученный приставаниями актера Геловани, на одном из приемов сказал товарищу Сталину, что артист Геловани, известный товарищу Сталину исполнением роли вождя, хотел бы... в том смысле, что... изучение образа любимого... величайшего... и это, в свою очередь подняло бы, может быть, наше искусство на недостижимую высоту... И товарищ Сталин сказал: "Актер Геловани хочет изучить мой образ. Он хочет понять мой жизненный путь. Это неплохо. Пусть начнет с Туруханской ссылки".

И мы не помним теперь, где, когда и при каких обстоятельствах умер артист Геловани. А жаль. Он был очень похож на товарища Сталина.

## **СЫН**

К товарищу Сталину пришел с докладом генерал Антонов и после оперативных новостей сказал:

— Товарищ Сталин, разведка доносит, что ваш сын Яков Джугашвили находится в немецком плену, и немцы готовы обменять его на плененного нами фельдмаршала Паулюса. Какое будет ваше указание на этот счет?

Товарищ Сталин засмеялся и сказал:

— Я солдат на маршалов не обмениваю.

## **ТАНЦЫ**

Однажды в Кремле был банкет и танцы. Все вожди весело смеялись и отдыхали от государственных дел. А два министра, Зверев и Кафтанов, стояли у двери и разговаривали. Они были пожилые и очень толстые. Огромные. И животы у них были огромные. Музыка играла вальс. Вдруг из-за двери появился товарищ Сталин. Он прищурился и сказал:

— А вы что не танцуете, товарищи?

— А мы танцуем, товарищ Сталин, мы танцуем, — сказал обомлевший Зверев. Он обнял за талию Кафтанова, и они закружились в вальсе.

## **ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ**

Однажды корреспондент зарубежной газеты спросил товарища Сталина, почему делегаты XVII съезда партии были расстреляны без суда и следствия.

Товарищ Сталин ответил: "XVII съезд был съездом победителей, а победителей, как известно, не судят."

## А. М. ГОРЬКИЙ ПИШЕТ СТАТЬЮ

Однажды на дачу А. М. Горького приехали Сталин и Ягода. Товарищ Сталин сказал:

— Алексей Максимович, было бы очень хорошо, если бы вы, великий пролетарский писатель, написали статью на такую, скажем, тему: если враг, допустим, не сдастся, его, допустим, уничтожают! Такая статья очень помогла бы нашей партии расправиться со всеми и всяческими врагами социализма, мечтающими реставрировать помещичьи порядки в нашей стране.

— Понимаете, — сказал А. М. Горький, — боюсь, не справлюсь, Иосиф Виссарионович. Съезд писателей надо готовить. Детскую литературу поднимать. "Дело Артамоновых" кончать надо, да и "Клим Самгин" не завершен. Боюсь, не справлюсь, Иосиф Виссарионович...

— А вы попытайтесь, Алексей Максимович, — сказал товарищ Сталин. — Попытайтесь... Попытка, как говорит мой друг Ягода, не пытка...

## ШУТКА

Во время войны на всех заседаниях Политбюро присутствовал генерал, отвечающий за снабжение фронта. Или он отвечал за тыл. Он за что-то отвечал, но автор не вполне точно знает, за что. Назовем его Сидоров. Или Петров. Кому как нравится. Пусть будет Раппопорт. И каждый раз товарищ Сталин, встречая его на заседаниях, говорил:

— А что, товарищ Раппопорт, разве вас еще не расстреляли?

Не знаю, как вы, дорогие читатели, но автор просто обливается холодным потом, ставя себя на место этого Раппопорта. Тем более, что он отвечал за снабжение. Тут человек работает простым продавцом в магазине и то ночами не спит, все ждет, когда его заберут за хищение социалистической собственности. А тут снабжение всего фронта. Или тыла. С ума сойдешь! А товарищ Сталин при каждой встрече говорит:

— Как, разве вас еще не расстреляли, товарищ Раппопорт?..

И так было изо дня в день!

Но вот кончилась война. И в Кремле был дан грандиозный прием в честь победы. И на этом приеме товарищ Сталин сказал:

— Мы прожили тяжелые и трагичные годы. И весь наш коллектив, весь наш аппарат работал дружно и напряженно. Но даже в эти тяжелые годы мы всегда находили время для шутки. Товарищ Раппопорт не даст мне соврать. Верно я говорю, товарищ Раппопорт?

## ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК

У товарища Сталина были ученики.

Один из них был маршал Буденный. Он носил вот такие усы! Ни у кого не было таких длинных горизонтальных усов, как у маршала Буденного. И был генерал Ока Городовиков. У него были вот такие бакенбарды. Удивительно большие бакенбарды. Любой швейцар в мире мог позавидовать таким бакенбардам. Так они и шли по жизни — один в усах, другой — в бакенбардах. И вот Ока Городовиков умер. На его могиле маршал Буденный сказал речь. Надо сказать, что они были старыми товарищами. Еще в гражданскую войну Ока Городовиков служил конником в Первой Конной армии Буденного.

И Буденный сказал речь на могиле Оки Городовикова. Он сказал:

— Умер Ока Городовиков. Он был интереснейший человек. Бывало, возьмет Ока шашку, хрясь! — и человек до пупа пополам разваливается! Интересный человек был Ока Городовиков...



## ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

В Москве в одном из домов на старом Арбате жил писатель. Он не был ни лауреат, ни кандидат, ни депутат. Он был просто писатель и жил поэтому в коммунальной квартире. И соседи у него были хорошие. И токарь Никодимыч был хороший: он придет с работы, выкушает бутылку водки и сидит себе на диване и слушает по радио про футбол, когда играет любимая команда "Спартак", и никого не трогает, ну разве только даст по шее жене, чтобы не топала, когда он радио слушает. И студент Коля тоже был хороший. Его дело и вовсе легкое. Когда мама на работу уходит, приведет Коля девчонку, и попискивают они у себя в комнате и никому не мешают. И бабушка Анна Григорьевна тоже была хорошая. Она себе живет не тужит, милостыню собирает у церкви, творога себе купит — а там и день прошел. И только кладовщица Валентина из пятой комнаты была плохая. Она не любила писателя и везде его преследовала разными гадкими словами. Она ходила в своем противном розовом халате по кухне и говорила:

— Какой такой он писатель? Бездельник он, вот и все. Все советские люди на работу ходят, а он, небось, только в 9 утра zenки свои продирает. Надо будет в органы сообщить, пусть проверят, что он там цельный день на машинке стучит.

Писатель просто доходил до иступления, слыша за дверью этот противный голос. А поменять комнату или, еще лучше, получить отдельную квартиру он не мог, потому что, как автор указывал выше, он был рядовой писатель. И вот он написал книгу. Наверное это была отличная книга в духе событий. Автор думает, что она была в духе событий, потому что другую книгу в то время и не издали бы. В те годы был моден конфликт "хорошего и отличного". Ну например, очень хороший директор завода не хотел внедрять новую технику, а тут пришел отличный главный инженер и внедрил. Попутно, он спас тонущего ребенка и женился на жене директора, которая тоже любила внедрять новую технику. Вот такую, скажем, книгу и выпустил наш писатель. А может быть, другую. Историческую. В которой доказывался бы приоритет русской науки перед иностранной. Или еще какая-нибудь прогрессивная идея. Короче говоря, книга эта увидела свет.

Однажды ночью, когда в квартире все спали, раздаётся телефонный звонок. Писатели спят чутко, потому что основные мысли о будущих произведениях приходят писателям по ночам. Писатель вскочил и в трусах и в майке выскочил в коридор, где и стоял их общий коммунальный телефон. Голос по телефону говорит:

— Это писатель такой-то?

— Да...

— Одну минуту, сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин.

Писатель чувствует, что все перед глазами у него поплыло, и он не может понять, спит он еще или уже умер, и это некое потустороннее явление. С другой стороны, какая-то мыслишка о розыгрыше приятелей, хотя какой же приятель позволит себе такой розыгрыш, ведь не сумасшедший же он. А в трубке говорят до боли знакомым голосом:

— Здравствуйте, товарищ писатель. Я тут прочел вашу книгу. И, знаете, получил удовольствие. Вы совершенно правильно ставите вопрос о повышении производительности труда...

Писатель слушает, переминается босыми ногами в коридоре, а тут Валентина, чертова кладовщица, отворяет свою дверь, выходит как есть в бигуди и в розовом своем халате, кладет ручки свои на бедра и говорит:

— Нет, вы только взгляните на него! Люди добрые спят, им завтра на работу идти, план для государства выполнять, а этот замухрышка, бездельник этот задумал по телефону разговаривать! А я вот сейчас вызову милицию...

Писатель одной рукой трубку закрывает, чтобы товарищ Сталин не слышал противного валентининового голоса, а второй рукой так делает, мол, иди, иди себе с богом!

Валентина, кладовщица эта, говорит:

— Смотрите на него, он еще и рукой размахался, ишь ты шустрый какой, ты у меня сейчас намахнешься!..

Тут наш писатель не выдержал и говорит:

— Оставьте меня в покое, не видите, я с товарищем Сталиным разговариваю...

Валентина, эта кладовщица, от изумления просто потеряла дар речи. Но не надолго. Она говорит:

— Определенно, ты не только дармоед, но еще и сумасшедший. А за эти твои слова про товарища Сталина я тебя просто высе-

лю из нашей квартиры. Это как же ты посмел такую контру говорить. Да еще в четыре часа утра. Я сейчас же иду в милицию.

Товарищ Сталин спрашивает:

— Что там у вас, товарищ писатель, я, кажется, слышу еще чей-то голос...

Писатель говорит:

— Понимаете, товарищ Сталин, это соседка наша Валентина. Вообще-то у нас все хорошие, и токарь Никодимыч хороший, и Коля — студент — тоже хороший, вот только Валентина, кладовщица эта... Господи, о чем это я? Товарищ Сталин, разрешите я позволю вам из автомата, а то мы здесь и поговорить как следует не сможем.

Сталин говорит:

— Из какого автомата?

— Да у нас на улице телефон-автомат, я бы вам сейчас же перезвонил.

Товарищ Сталин говорит:

— Ну хорошо, сейчас мы уладим это дело.

И раздались короткие гудки. Писатель думает: ну все, погиб я! О чем я говорил товарищу Сталину? Ну при чем тут токарь Никодимыч! И при чем тут эта проклятая Валентина! Надо теперь собирать вещи, потому что, видимо, пробил мой час. И зря я написал эту лживую книжку про конфликт „хорошего с отличным“, перед коллегами стыдно! Сейчас придут...

И действительно, через пятнадцать минут раздался звонок в дверь.

Валентина, холера эта в халате, бежит открывать. Входят военные.

— Писатель такой-то вкакой комнате?

Валентина, от радости вся красная, бежит показывать. Военные что-то говорят за дверь, входят солдаты, тянут кабель, приборы всякие, военный дает трубку писателю и говорит:

— Продолжайте, пожалуйста.

Писатель трясущимися руками берет трубку, а из трубки голос товарища Сталина говорит:

— Надеюсь, что теперь нам не помешают? Итак, я прочел вашу книжку и считаю, что вы абсолютно правильно ставите вопросы о повышении производительности труда...

35/11

GO 527



А в дверях стоит эта дура Валентина с открытым ртом и токарь Никодимыч с женой, и студент Коля с девчонкой (его мама как раз в ночную смену работала), и бабушка Анна Григорьевна, и смотрят они во все глаза, как солдаты в наушники слушают, и военные стоят по команде "смирно", а писатель с товарищем Сталиным полемизирует со словами: "Да, Иосиф Виссарионович, конечно, Иосиф Виссарионович..."

Автор не знает, как сложилась дальше судьба этого писателя. Скорее всего, он теперь и лауреат, и кандидат, и депутат. Ведь не каждому же писателю вот так запросто звонил товарищ Сталин. И квартира у писателя, автор думает, теперь отдельная, со всеми удобствами, окна выходят на Кремль, чтобы никогда не забывал, что товарищ Сталин любил читать книжки.

## **ТОВАРИЩ СТАЛИН СМОТРИТ ФИЛЬМ "ЧАПАЕВ"**

Товарищ Сталин очень любил кино. Он, как и товарищ Ленин, считал его важнейшим из искусств. Поэтому все новые кинофильмы, созданные советскими режиссерами, он лично утверждал. Разрешал. Или запрещал. И он никому не передоверял эту обязанность. Он был первый зритель и первый критик. И он всегда с нетерпением ожидал нового фильма. Чтобы, во-первых, его посмотреть. А уж потом разрешить его показывать другим. Или, в крайнем случае, запретить. Уж кому как повезет. Но работа эта была не слишком напряженная, потому что фильмов тогда выходило не очень много. Шесть штук в год. Или четыре. Но все четыре должны были быть шедеврами и сразу идти в золотой фонд мирового искусства.

А тут братья Васильевы создали фильм "Чапаев". Это теперь к герою гражданской войны Василию Ивановичу Чапаеву относятся почему-то плохо, рассказывают про него смешные анекдоты и издеваются над его простотой и необразованностью. А тогда он был настоящий герой.

И братья Васильевы решили снять про него фильм. Собствен-

но, они не были братьями. Они были однофамильцами. А, может быть, они просто так придумали себе псевдоним — братья Васильевы, автор не очень точно помнит, почему их так звали. Но фильм они сделали хороший. И начальник Главкино повез его показывать товарищу Сталину. И взял с собой братьев Васильевых. Наверное, товарищ Сталин велел ему их взять. Не сам же он до этого додумался.

И вот они вчетвером смотрят фильм "Чапаев" в Кремле в просмотровом зале товарища Сталина. Братья Васильевы с трепетом ждут своего приговора. Кончился фильм. Все молчат. Товарищ Сталин говорит:

— Сейчас мы посмотрели с вами замечательный фильм "Чапаев". Это великолепный фильм, который с энтузиазмом встретят рабочие и колхозники нашей страны. Наша партия давно ждет такого произведения искусства. Без преувеличения можно сказать, что советский народ пойдет на эту картину, как на праздник.

Но в этом фильме есть сцена психической атаки "каппелевцев". Белые офицеры под командой полковника Каппеля идут в атаку во весь рост с винтовками наперевес, а чапаевцы от них бегут. История гражданской войны показала, что, наоборот, это белые удирали от победоносного наступления Красной армии... Эту сцену надо...

Все молчат. Потом говорят: "Спасибо, товарищ Сталин. До свидания, товарищ Сталин." В коридоре Кремля один брат Васильев говорит, волнуясь, начальнику Главкино:

— Спиридон Елпидифорыч (или как его там звали). Вы поймите, эта сцена для нас с другим братом Васильевым очень дорога. Она художественно показывает, что несмотря на психические атаки белых, Красная армия все же победила в гражданской войне. Без нее фильм не будет таким уж хорошим. Нам без этой сцены просто и жить не хочется. Попросите товарища Сталина, пусть оставит эту сцену, а?

Начальник Главкино говорит:

— Да ты просто спятил, брат Васильев. О чем это ты? Ты, кажется, рехнулся от общения с товарищем Сталиным. Как это я попрошу? У меня жена, дети. А ты, хоть и брат, да не мой. Иди с богом, брат Васильев со своим братом.

Но братья Васильевы день и ночь просили этого начальника. Они



звонили ему в кабинет и ловили его у подъезда, они уговаривали его знакомых и знакомых их знакомых, и, наконец, начальник сказал:

— Черт с вами, попробуем показать этот фильм товарищу Сталину еще раз. Прошло несколько месяцев, быть может, товарищ Сталин забыл об этих ваших "каппелевцах".

Вот сейчас автор жалеет, что не помнит имени и отчества этого начальника, потому что такой поступок автор считает героическим и уж, по крайней мере, не уступающим подвигам самого Василия Ивановича Чапаева.

И — действительно, через некоторое время в просмотровом зале в Кремле четыре человека снова смотрели фильм "Чапаев". Кончился фильм. Товарищ Сталин говорит:

— Сейчас мы посмотрели с вами замечательный фильм "Чапаев". Это великолепный фильм, который с энтузиазмом встретят рабочие и колхозники нашей страны. Наша партия давно ждет появления такого произведения искусства. Без преувеличения можно сказать, что советский народ пойдет на эту картину, как на праздник.

Но в этом фильме есть сцена психической атаки "каппелевцев". Белые офицеры под командой полковника Каппеля идут в атаку во весь рост с винтовками наперевес, а чапаевцы от них бегут. История гражданской войны показала...

В этот самый момент один из братьев Васильевых, тот, который был однофамильцем своему брату, не выдержал нервного напряжения и в глубоком обмороке упал на пол просмотрового зала.

— Что это с ним, товарищ Главкино? — спросил товарищ Сталин, раскуривая свою маленькую трубочку. — Неужели это он из-за "каппелевцев?" Бог ты мой, ну пусть останется!..

И фильм вышел со сценой психической атаки.

А товарищ Сталин, провожая деятелей кино к дверям, сказал начальнику Главкино:

— В следующий раз привозите фильм один. Без режиссеров. Слабый это народ — режиссеры...

## ПИСАТЕЛИ ТОВАРИЩА СТАЛИНА

У товарища Сталина были любимые писатели.

То есть, не то, что он их любил, но они его любили и думали, что он за это их любит тоже. Они считали себя любимцами товарища Сталина. Потому что они писали про него песни и оды. Но он их, наверное, тоже любил. Это была взаимная любовь. Скорее всего.

Один из них, поэт Островой, шел однажды по двору Литературного института, где он состоял доцентом или профессором. Он напевал песенку, которую он сам и сочинил. У него было превосходное настроение.

Великий русский писатель Андрей Платонов работал дворником во дворе Литературного института. Он, вероятно, не был любимцем товарища Сталина. Вот он и работал дворником.

Поэт Островой увидел Андрея Платнова, подметающего двор, и сказал бодрым и звонким голосом:

— Здравствуй, Платонов!

Платонов говорил "ты" только самым близким, сокровенным людям. Он посмотрел на Острового, перестал мести двор, снял шапку и сказал:

— Здравствуй, барин...



## ШОССЕ БЛИЗ ТРОПИНКИ

Однажды автор был в Грузии. И он с друзьями поехал на озеро Рица. Это удивительное озеро, зеленое чудо. Автор и сейчас помнит синие ели, малахитовую гладь озера, извилистую горную дорогу, "тещин язык", как называют такие дороги в Закавказье. Когда едешь по такой дороге, извивающейся, как змея, на такси с лихим грузином — водителем, и каждую секунду смотришь в обрывы и ущелья то справа, то слева, куда бы ты неминуемо свалился, если бы не мастерство усатого белозубого водителя. И только — ух ты! —

ветер свистит в ушах, да ревут пронсящиеся мимо машины с воющими от страха женщинами.

А на Рице — блаженная тишина и шашлыки, и сухое холодное вино.

— А что в этом доме с зеленой крышей, там, за озером?

— Тише ты... Это бывшая дача Сталина.

— А можно пойти посмотреть?

— Кому можно, а кому нельзя.

— А мне можно?

— Ты таксу знаешь...

— Ах, Гиви, я из-за тебя голым вернусь в Москву.

— Поехали, бичо, не будем терять золотого времени. Я знаю одну дорогу, которую мало кто знает. Она к даче ближе всего.

И вот мы едем по "тещиному языку", а потом сворачиваем на узкую тропинку, которая уходит в гору и вдруг превращается в широкое и прямое, как стрела, шоссе.

— Куда ведет это шоссе?

— Увидишь...

Мы едем минут двадцать пять, а потом шоссе неожиданно обрывается. Прямо на дороге стоит чахлый родничок в виде водопроводного крана, из которого капает не то боржом, но то нарзан, что-то желудочное, одним словом.

— Куда ведет это шоссе, Гиви?

— Сюда.

— А что здесь?

— А здесь ничего.

— А где же дача Сталина?

— Внизу, полчаса ходьбы.

— А почему туда не ведет это шоссе?

— Потому что товарищ Сталин не приказал.

— Так зачем оно? Оно ведь никуда не ведет...

— Это целая история, бичо. Пойдем к даче, по дороге расскажу... Я сам, конечно, не видел, но люди говорят, однажды товарищ Сталин гулял здесь по тропинкам. Он шел, задумался, наверно, и споткнулся о камень на тропинке. Говорят, он что-то про себя вполголоса сказал. То ли ругнулся, то ли тропинку обругал. А один генерал, что сзади сопровождал товарища Сталина, услышал эти слова. И он захотел отличиться перед товарищем Сталиным.

На следующее утро он вызвал две дивизии и приказал им пробить в горах это шоссе. Ты, конечно, не знаешь, что такое построить дорогу в горах. Да еще такую. Ты спроси у строителей, они тебе скажут. Это было похоже на смертельный бой. Рвались горы, тысячи солдат, сотни механизмов! В ударные сроки построили эту дорогу. Но вот куда? Ведь товарищ Сталин не дал никаких конкретных указаний. Потому что его уже не было на даче. Он давно уехал в Москву. И, может быть, никогда больше не возвращался на Рицу. И шоссе закончили у того паршивенького источника. Теперь каждый может пройти с той стороны Рицы по этому прекрасному шоссе и попить здесь водички...

А дача была красивая. Из сотен пород деревьев. Она была, как инкрустированная игрушка. Тогда ее отдали под профсоюзный санаторий. Что теперь там, автор не знает. Может быть санаторий. А может, там поселился какой-нибудь вождь. А может быть, это дом для приезжающих на Рицу прогрессивных коммунистических деятелей мира. Не знаю.

Будете на Рице, попробуйте разыскать шоссе, построенное для товарища Сталина. Погуляйте по этой дороге.

Дороге в никуда...

## ТОВАРИЩ СТАЛИН И КОЛЛЕКТИВ

Однажды товарищ Сталин был в отпуске. Не надо думать, что он не нуждался в отдыхе. Он, может быть, нуждался в нем больше всех, потому что ему приходилось думать за всех и каждого. Ведь некому было доверить ни одного, даже самого простого вопроса! Все сам, все сам. И вот он возвращается из отпуска, едет на машине к Кремлю и видит на улицах афиши: "Новый кинофильм "Академик Иван Павлов". И товарищ Сталин вспоминает, что он не смотрел этого фильма. Как же он попал на экран?

Товарищ Сталин приезжает в Кремль, а там уже сидят все члены Политбюро, ждут его.

Товарищ Сталин спрашивает:

— Я сейчас видел на улицах афиши фильма "Академик Иван Павлов". Кто разрешил его выпуск в свет?

Все молчат.



Товарищ Сталин спрашивает:

— Кто разрешил его...

Встает товарищ Молотов и говорит:

— Вы были в отпуске, товарищ Сталин. А тут подошел юбилей великого русского физиолога, академика Павлова. И было мнение...

Товарищ Сталин говорит:

— Я спрашиваю, кто разрешил выпуск этого фильма?

Товарищ Ворошилов говорит:

— Ну вы же знаете, Иосиф Виссарионович, что я занимаюсь только военными вопросами, и у меня нет привычки лезть не в свои дела.

Товарищ Берия говорит:

— Я, товарищ Сталин, как вы знаете, ни черта в кино не понимаю. И без кино голова кругом идет. Вот сейчас как раз раскрыли новый заговор...

Товарищ Сталин говорит:

— Кто персонально разрешил выпуск этого фильма в свет?

Товарищ Ворошилов говорит:

— Ой, чувствует мое сердце, что кое у кого из присутствующих сегодня полетят головы. Это же надо додуматься: без товарища Сталина разрешить выпуск этого фильма!..

Товарищ Сталин говорит:

— Кто разрешил выпуск этого фильма?

Встает товарищ Щербаков и говорит:

— Товарищ Сталин, это глубоко патриотический фильм, идея которого — русский ученый никогда не покинет свою родину ни за какие буржуазные подачки.

Товарищ Сталин говорит:

— Ну и кто разрешил его выпуск в свет?

Товарищ Ворошилов говорит:

— Ну не могу, не могу смотреть на людей этих! Это же надо, до чего додумались. Вот мы, военные люди, без приказа ни-ни, это просто поразительно, как они додумались до такого...

Встает товарищ Жданов и говорит:

— Товарищ Сталин, фильм этот поднимает нашу науку на недосягаемую высоту. Он — наш ответ космополитам, формалистам и их американским хозяевам. В этом фильме, как нигде, доказывается



приоритет русской науки перед заграничной, и он, как нельзя лучше, помогает партии разъяснить народу некоторые наши меры против...

Товарищ Сталин говорит:

— Кто разрешил выпуск этого фильма в свет?

Товарищ Ворошилов говорит:

— Нет, определенно полетят некоторые безответственные головы...

Тут встают Молотов, Жданов и Щербаков и говорят:

— Это мы разрешили, товарищ Сталин. Коллективно.

Товарищ Сталин подумал и сказал:

— Правильно сделали, товарищи!

## **ДРАМА ДРАМАТУРГА**

Товарищ Сталин очень любил ходить в театр. А пьесы были плохие. Хорошие пьесы в театр не принимали, потому что они были вредные. А плохие пьесы были очень полезные. Они ставили острые вопросы, отмеченные в последних постановлениях ЦК КПСС: о повышении урожайности в нечерноземных областях, о внедрении новой техники, об улучшении качества изделий швейной промышленности, о повышении производительности труда, о снижении себестоимости выпускаемой продукции.

Отрицательные герои, не внедрявшие, не повышавшие, не снижавшие и не улучшавшие, к концу пьесы исправлялись и подтягивались до уровня положительных героев.

Была целая плеяда драматургов, изготовлявших такие пьесы, но самым лучшим среди них был драматург товарищ Суров. Он писал пьесу за пьесой, их ставили во всех без исключения театрах страны, он получал Сталинские премии, а иногда даже по две в год.

Надо заметить, что искусство Сурова, Софронова и других горных орлов литературы быстро пошло в гору после разгрома так называемых "космополитов" в 1948-1949 годах. Космополиты хотели затравить все передовое, прогрессивное и полезное. Они все погловно были агенты Джойнта и американского империализма. Газе-

ты писали, что сионистское отребье, окопавшееся в советском искусстве и литературе, хотело исколоть своими отравленными стрелами патриотизм советских людей. И затравить замечательных патриотов Сурова, Софронова и других. С космополитов срывали псевдонимы, под которыми они скрывали свою сущность, и народ мог видеть, что Иванов — это по-настоящему Рабинович, а Петров — это просто Абрамович. Космополитов выгнали с работы, лишили квартир, а так как жить на улице зимой нельзя, то им предложили государственные квартиры в Лефортовской тюрьме и в сибирских лагерях. А некоторых просто лишили зарплаты, что, с точки зрения автора, адекватно предоставлению государственных квартир, так как человек в России может жить только от зарплаты до зарплаты.

Ну Бог с ними, с космополитами, так как лет через десять или двенадцать, в году этак 1958 партия простила этих безродных космополитов. И те, кто выжили, снова влились в могучий отряд советской творческой интеллигенции.

А сейчас продолжим повествование о любимом драматурге товарища Сталина — Сурове.

Хотя автор обещает, что в конце этого рассказа он вернется к космополитам.

Писатели часто спорили между собой, кто из них лучший, талантливейший писатель нашей эпохи. Суров говорил, что он. И Софронов говорил, что он. Бубеннов говорил, что он. А Бабаевский говорил, что он. Поэтому Суров однажды в Доме Литераторов набил морду Бубеннову. А Бубеннов взял стул и обрушил его на голову Сурова. Вот это он зря, потому что в голове у Сурова были в это время новые идеи относительно пяти или шести пьес, которые должен был поставить Московский Академический Художественный театр, куда часто ходил товарищ Сталин. Злые языки рассматривали этот конфликт с точки зрения искусства и усмотрели в нем конфликт "хорошего с отличным". Правда, они не решались персонально назвать "отличным" Бубеннова, чтобы не разозлить Сурова и, наоборот, не решались объявить "отличным" Сурова, чтобы не получить стулом по башке от Бубеннова.

Про Сурова ходил такой стишок:

Суровый Суров не любил евреев,  
Он их везде и всюду обижал,

За что его не уважал Фадеев,  
Который тоже их не обожал.

Ясно, что если сам начальник советской литературы товарищ Фадеев "не обожал", то товарищ Суров их просто сживал со свету. Потому что все они были космополиты безродные и не любили свою Родину, свою партию и лично товарищей Сталина и Сурова. Проклятые американские шпионы!

И все было бы отлично для товарища Сурова, и все его пьесы шли бы в театрах до сих пор, и слава его затмила бы славу Шекспира и Шоу, если бы не маленькое происшествие, которое не позволило товарищу Сурову подняться на требуемую высоту.

Однажды Союз писателей получил письмо, подписанное несколькими космополитами. Они жаловались на то, что замечательный советский драматург Суров не выполняет своих обязательств по отношению к ним, презренным и безродным. Он, видите ли, забыл, или не захотел заплатить им месячную зарплату в размере около ста рублей, что ставит под угрозу само физическое существование их лично и их детей. А эту зарплату товарищ Суров обещал платить им за те пьесы, которые они написали за него, товарища Сурова, и которые вот уже много лет не сходят со сцены наших театров и приносят товарищу Сурову славу и сотни тысяч рублей авторского гонорара. Поэтому было бы очень гуманно со стороны Союза советских писателей, бывшими членами которого являлись подписавшие письмо космополиты, попросить товарища Сталина дать им немного, ну совсем немного денег на жизнь.

Союз писателей очень огорчился и доложил о письме товарищу Сталину. Автор не знает, что именно сказал товарищ Сталин, но, может быть, что-то вроде:

— Жаль. Он хорошо начал. Он мог бы хорошо кончить.

И товарищ Суров загремел вниз.

Но не очень.

Автор встретил его несколько лет назад в редакции Всесоюзного радио и центрального телевидения. Он ведал вопросами литературы. Ну что ж, он специалист, ему и карты в руки.

А у товарища Сталина появились другие любимые драматурги. Не хуже товарища Сурова.



## НАХОДКА В СЕЙФЕ

Товарищ Сталин был осужден товарищем Хрущевым. А вторым человеком в партии после товарища Хрущева был товарищ Фрол Козлов. Он был сначала вождём в Ленинграде, этой колыбели революции, этом городе трудовой славы на Неве. А из Ленинграда он переехал в Москву и стал вождём № 2 после, разумеется, товарища Хрущева.

Товарищ Хрущев разогнал тогда всех любимых вождей советского народа. И товарища Молотова, и товарища Кагановича, и товарища Берию. Только некоторых оставил. И новеньких привлек. Козлова. Суслова. Хотя Суслов, конечно, не новенький. Он из стареньких. Ну а Козлов — из новеньких. Фрол Романович.

А тут в Ленинграде погибает в автомобильной катастрофе товарищ Смирнов — мэр Ленинграда. Вообще-то мэры крупнейших городов мира редко попадают в автомобильные катастрофы. А Смирнов попал. Это тем более странно, что в СССР, когда едет по дороге вождь, все движение останавливается, милиция стоит на каждом перекрестке и вежливо говорит зазевавшемуся водителю: "Куда прешь, дубина? Не видишь, кто едет?"

Но Смирнов — попал. То ли он сказал своему шоферу по пьяному делу: "Дай я сам поведу!" А у самого, небось, и прав-то не было и за руль сел первый раз в жизни. То ли еще что случилось, ну откуда нам знать? У них свои дела. И когда бьет их час, известно только богу и тем товарищам, которые этот час организуют.

Так вот безвременно погиб мэр Ленинграда товарищ Смирнов. И комиссия, назначенная передать дела его заместителю, вскрыла его сейф. И нашла там, что бы вы думали, американские доллары! Много. Кучу. Вообще-то, советский человек не имеет права хранить доллары. За доллары в СССР по головке не гладят. А просто отнимают эту головку у ее владельца. Вместе, разумеется с долларами. Проще говоря, за доллары в СССР расстреливают.

Но то, если человек простой, советский. А если это руководитель, скажем, покойный мэр Ленинграда? Ведь не фарцовщик же он и не спекулянт. Откуда у него эти доллары, это другой вопрос, может быть, кто-нибудь опишет это в другом художественном произведении. Автор же вместе с комиссией задается вопросом —

зачем?

Тогда комиссия вызывает жену убиенного мэра и говорит ей:

— Ну-ка, милая вдова, извольте рассказать, зачем и откуда у вашего мужа лежала в сейфе куча долларов?

Вдова в слезы.

— Это, — говорит, — Фрол совсем запутал моего мужа. Это он его надоумил. Береги, говорит, доллары, мало ли чем дело кончится, а доллар он и при царе — доллар.

Комиссия просто глаза вылупила.

— Какой, — говорит, — Фрол?

— Да Козлов Фрол, он когда в Ленинграде вождем был, мой с ним вместе работал.

Комиссия просто полегла от страха. Если бы это был рядовой Фрол, тут и сказке конец. А это Фрол № 2. После Никиты Сергеевича.

И доложили это дело Никите, товарищу Хрущеву. А товарищ Козлов как про это узнал, так расстроился, что сразу лег в свою кремлевскую больницу.

Очень разгневался товарищ Хрущев. Даже ногами топал. Он так сказал:

— Ну то, что он эти доллары собирал, я бы ему простил. Но то, что он намекает на то, что "мало ли чем все дело кончится", это на что же он намекает? Какое это "дело"? Уж не советскую ли власть матушку он имеет в виду? Вот этого я ему никак простить не могу!

И будь он № 2 или любой другой номер! Ну, погоди, Фролушка! Если он, сучий хвост, выздоровеет и выйдет из больницы, исключу его из партии, а если не выздоровеет и помрет — похороню на Красной площади, чтобы не позориться перед всем народом.

И товарищ Козлов умер и был похоронен с воинскими почестями на Красной площади. А доллары, конечно, конфисковали в пользу внешней торговли с зарубежными странами.

Конечно, товарищ Сталин не дожил до этого дела. А то бы сюжет этот неизвестно как повернулся. А товарищ Козлов лежит неподалеку от товарища Сталина, потому что он тоже был настоящий коммунист.



## СУЛИКО

Товарищ Сталин очень любил музыкальное искусство. Но особенно он любил грузинскую народную песню "Сулико". Он мог часами слушать эту песню. И он хотел, чтобы все искусство было похоже на песню "Сулико", чтобы его можно было слушать часами. Композиторы очень старались понравиться товарищу Сталину. Они писали песни про товарища Сталина, марши и музыку, похожую на песню "Сулико". Автор до сих пор помнит все эти песни и готов спеть их любому желающему их послушать. Автор обладает небольшим приятным голосом и достаточным слухом, чтобы не искалечить мелодии, которые он напевал всю свою жизнь. Автор бы с удовольствием записал ноты этих музыкальных произведений, но он не обучен нотной грамоте и лишает поэтому читателей неизъяснимого удовольствия проиграть их на своих домашних инструментах.

Зато товарищ Жданов, которому товарищ Сталин поручил вести литературу и музыкой, умел играть на пианино. Наверное, мама взяла для него педагога, когда он был ребенком, чтобы товарищ Жданов умел вести себя в обществе и при случае сыграть по нотам какой-нибудь опус Чайковского или Шопена. Это, конечно, бросает тень на социальное происхождение товарища Жданова, потому что дети прачек и сапожников до революции редко играли на пианино, но все-таки эта учеба не прошла даром, и товарищ Сталин, видя подле себя такого выдающегося интеллигента, доверил ему-таки музыкальную культуру. И небось ставил его в пример остальным членам Политбюро. Может быть, он говорил Микояну: "Ну что вы, товарищ Микоян, все о торговле, да о торговле. А вы ноктюрн сыграть смогли бы, скажем, на флейте водосточных труб? Не смогли бы. А товарищ Жданов, определенно, смог бы." И товарищ Микоян уходил пристыженный и подавленный.

Товарищ Жданов знал, что музыка — очень опасная штука. Возьмем, к примеру, симфонию. Что означает такое сочетание звуков: "Тра-ля-ля-ля, ля, та-ра-ра"? Что это может означать? Зовет ли это советский народ на новые свершения? И не заложена ли в это "та-ра-ра" бомба замедленного действия, которая взорвет к чертовой бабушке все стройное здание социализма? Когда композитор пишет песню:

На просторах Родины чудесной,  
Закаляясь в битвах и труде,  
Мы сложили радостную песню  
О Великом Друге и Вожде...

— здесь все ясно. Тем более, что имеются слова, показывающие, о чем поется. А если нет слов? Каждый слушатель должен домысливать сам! А в голову к нему не влезешь. А надо! Надо, чтобы не думал, чего не положено. С классиками все в порядке. Ни Бетховен, ни Чайковский, ни Бородин не были врагами советской власти. В их произведениях трудно уловить антисоветские ноты. А эти? Сегодняшние? Если они не против, почему они не пишут песен, похожих на "Сулико"? Ведь им никто не мешает их писать.

С этими мыслями товарищ Жданов собрал композиторов. И он сказал им:

— Товарищи композиторы! Весь ваш отряд советских композиторов пишет замечательные оперы, сонаты, рапсодии и песни о товарище Сталине, о партии и народе. И это понятно. Как учил товарищ Ленин, "Искусство должно быть понятно народу". И как учит товарищ Сталин, "искусство принадлежит народу". Но что мы видим? Мы видим, что некоторые композиторы типа Прокофьева, Шостаковича, Мясковского оторвались от народа. Их искусство не принадлежит народу. Ну привезем мы симфонию того же Прокофьева в колхоз — поймут ее колохозники? Ясное дело — не поймут. А это никуда не годится. Не для того наша страна тратит на вас такие средства, строит для вас консерватории и музыкальные инструменты, чтобы вы писали кто как вздумает. Теперь возьмем Шопена...

Тут товарищ Жданов подошел к роялю, сел и вот так запросто сыграл вальс Шопена. Не весь, только кусочек.

— Смотрите, как прелестно, — сказал он. — И все понятно народу. Или возьмем песню "Сулико"...

И он сыграл "Сулико".

— ...Вот это музыка, нужная народу. И я советую, товарищи композиторы, давайте перестроимся и создадим новые произведения, достойные нашего народа. А то, не дай бог, выйдет постановление партии о формалистах в музыке, что вы тогда запоете, а? Так что давайте лучше по-хорошему...

Композиторы хлопали в ладоши и кричали ура товарищу Ста-

лину и товарищу Жданову за их великие советы и неоценимую помощь.

Но тут встал композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, простер руки и изумленно сказал:

— Товарищи, кто этот человек, который учит меня играть на фортепьяно? И почему он разговаривает с нами в таком тоне?

Композиторы ахнули и стали смотреть на дверь, из-за которой, как они полагали, немедленно должен показаться конвой.

— Вот это он зря, — сказал товарищ Жданов, — я ведь хотел по-хорошему.

— И не так сказал товарищ Ленин про искусство, если уж на то пошло, — продолжал Сергей Сергеевич Прокофьев. — Он сказал в своей статье, написанной по-немецки, буквально следующее: "Искусство должно быть п о н я т о народом". А в переводе это почему-то приобрело упрощенный и, я бы сказал, вульгарный вид.

— Ну-ну, — сказал товарищ Жданов, — вы полегче с именем вождя. И мы не позволим вам ревизовать слова товарища Ленина. Как переведено — так и правильно. И не смейте поднимать руку на партию, народ вам этого не простит. Верно, товарищи?

Композиторы буквально разорвали зал своими рукоплесканиями в адрес товарища Жданова.

— Вы лучше подумайте о том, что музыка — это тоже оружие в классовой борьбе!

Автор не может удержаться, чтобы не рассказать в этом месте, какую сценку он видел на пляже в Сочи через пятнадцать лет после разговора Жданова с композиторами.

Представьте себе — знойный август на сочинском пляже, засиженном людьми. Жарко. Между телами загорающих лавирует сочинский милиционер в полной форме, в сапогах, портупее, фуражке. В руках у него полевая сумка с квитанциями. Это его участок, и он следит за порядком. Девчушка лет шестнадцати лежит на животе и загорает. Очень жарко. Поэтому она расстегнула купальный лифчик, прикрылась руками. Загорает. Милиционер подошел к девчушке, постоял над ней, потом сказал:

— Эй вы, уберите грудя. Грудя уберите. Грудя — они тоже половой орган!...

... — Итак, — сказал товарищ Жданов, — музыка — это тоже оружие в классовой борьбе. И мы не можем доверить это оружие вся-



ким там формалистам от музыки.

— Позвольте, — сказал Сергей Сергеевич Прокофьев, — мои произведения исполняются во всем мире, и никто...

— Во-во, — сказал товарищ Жданов, — все ищем сомнительного успеха среди империалистических кругов. Вот о том и говорит вам партия. Или возьмем композитора Мурадели. Он написал оперу "Великая дружба". Очень нужная и важная тема вечной негасимой дружбы между русским и закавказскими народами после великого Октября. И что же получилось? Ни одной запоминающейся мелодии, ни одной песни, которую зрители могли бы вынести из зала. Ведь, казалось бы, закавказские мелодии. Вот сюда бы и вставить "Сулико", преломленную через сознание композитора. А товарищ Мурадели не воспользовался этой возможностью. Поэтому народу не понравивась музыкальная часть этой оперы. Конечно, Мурадели тоже формалист. А всем ясно: сегодня он формалист, а завтра? Я вас спрашиваю: что завтра?! Вот, то-то...

И композиторы снова аплодировали и кричали свое ура.

...Сергей Сергеевич Прокофьев умер 5 марта 1953 года. Говорят, никого не было у его гроба. Страна провожала в эти дни другого дорогого покойника. В тот день ушел от нас товарищ Сталин.

И когда автор вспоминает тот год, он всегда думает об этих двух музыкальных гениях. Он наливает рюмку водки и тихо поет своим небольшим приятным голосом:

Я твою могилу искал,  
Но найти ее не легко,  
Долго я томился и страдал,  
Где же ты, моя Сулико?..

## "БУРЯ"

Писатель Илья Эренбург написал роман "Буря". В одной из библиотек Москвы проходило обсуждение этого романа. Время было страшноватое: за романы сажали. Впрочем, сажали и без рома-



нов. Присутствовавшие резко отрицательно относились к роману Эренбурга. Одни говорили, что автор много внимания уделяет буржуазной Франции, любовно описывая всякие там кафе и шантаны. Другие говорили, что автор мало внимания уделяет советским людям, показывая их не такими, какими они должны быть, а такими, какие они есть, что в свою очередь может рассматриваться, как тайное пристрастие к космополитизму. Третьи прямо называли Эренбурга космополитом и удивлялись, что он такой хитрый и не придумал себе псевдоним, который теперь было бы самое время сорвать.

Эренбург встал и прочел телеграмму: "Читал ваш роман "Буря" тчк очень понравился тчк Сталин тчк"

Все присутствующие тоже встали и устроили бурную овацию товарищу Сталину. А те, кто выступал перед Эренбургом, даже кричали с перекошенными лицами: "Да здравствует товарищ Эренбург!"

И все расстались большими друзьями.

## **ЕСТЬ ПРОРОКИ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ!**

Умиравший Ленин вызвал к себе товарища Сталина.

— Я умираю, Коба, — сказал он. — Что делать? За кем народ пойдет?

— Народ за мной пойдет, Владимир Ильич, — просто сказал товарищ Сталин.

— А если не пойдет? — страдая, спросил Ленин. — А если не пойдет?

— А если не пойдет за мной, пойдет за вами, — улыбаясь, ответил Иосиф Виссарионович.

## *ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА*

Эти маленькие рассказы автор припомнил совсем недавно. И он подумал, что было бы совсем неплохо записать их, чтобы они не пропали, как пропадало все в нашей России. Автора не столько интересовали факты, связанные с именем товарища Сталина и других товарищей, сколько атмосфера, обстановка, фон, что ли, характерный для той эпохи. Потому что интересно, конечно, знать факты из жизни личностей, вращающих колесо истории, но еще более интересно, как эти факты отражаются на жизни их современников. И чем эти факты грозят потомкам. И жителям иностранных государств. А они грозят.

Автор уверен, что многие читатели знают другие истории из жизни товарища Сталина. И других товарищей. Автор был бы безгранично благодарен, если бы эти читатели поделились с ним своими байками. Автор бы очень бережно их записал, придав им легкую и веселую форму. Ибо, как сказал Карл Маркс, учитель товарищей Ленина и Сталина, "человечество смеясь расстаётся со своим прошлым". И хотя товарищ Сталин, с точки зрения автора, не фигура прошлого, а наисовременнейший деятель этого кровавого столетия (чему не надо находить объяснения, достаточно лишь взглянуть на карту мира), автор, тем не менее, желает весело говорить о прошлом и оптимистично смотреть в будущее.

Потому что — у него нет другого выхода.

**РАССКАЗЫ О ДРУГИХ  
ТОВАРИЩАХ**

## К ЗВЕЗДАМ

В юности я очень любил писать песни советских композиторов. Они были бодрые и оптимистичные. Я писал, как Лебедев-Кумач, только хуже. Я писал такие песни, чтобы под них легче шагало по дорогам социализма. Про мои песни по радио говорили так: "Вы слушали песни советских композиторов. А теперь слушайте музыку!" Но они мне легко давались: я мог написать такую песню за десять минут. А потом композиторы делали к ним мелодии, и хотите смейтесь, хотите нет, а получались настоящие песни, которые пели Трошин и Шульженко. Их покупали на радио и на эстраде, и я любил их слушать в исполнении известных певцов, записанных на пластинки.

Надо добавить, что я был одним из самых непопулярных советских песенников. Вот почему вы не можете вспомнить моей фамилии в этой связи. Ну и не надо! Зато когда я познакомился с моей женой, она мурлыкала мою песенку, даже не подозревая, что это я ее сочинил. Да и вы когда-то ее мурлыкали: "Мой старый, далекий, испытанный друг..." А не мурлыкали, и не надо! Потому я на вас и не женился.

А потом в космос улетел космонавт Егоров, и когда он спустился на Землю, корреспонденты его спросили, кто его любимый поэт. Он сказал: Лермонтов. А какая ваша любимая песня? Он сказал: "Кто сказал, что прошли те года, о которых слагают легенды..." Я просто упал, когда прочитал это в "Комсомольской правде". Это же надо, сказал я себе, какой потрясающий вкус у этого человека! Из всех песен советских композиторов он любит одну единственную! И кто же ее написал? Я! То есть, таким образом я становлюсь любимцем космонавтов и сравниваюсь в этом с Володией Войновичем, который создал шлягер "У нас еще до старта 14 минут"! Это же уму непостижимо!

В редакции "Литературки", где я тогда работал, стоял дикий гогот. Все приходили позжать мне руку и пожелать новых творческих удач. Один сказал, что теперь по интеллектуальному уровню я сравнивался с космонавтами, и меня смело можно куда-нибудь запускать. Другой посоветовал немедленно завалить все музыкальные редакции моими шедеврами и стать любимцем пова-



ров, бухгалтеров, парикмахеров и других тружеников промышленности и сельского хозяйства, чтобы купаться в гонорарах и славе. Третий печально сказал: "Ну, докатились... Ты теперь и руки никому не подашь. Ну и страна..." Завистники, думал я, никто из них не стал любимцем космонавтов, вот они и острят.

Поэтому я с надеждой открывал газеты после приземления космонавтов, чтобы узнать, не являюсь ли я еще чьим-нибудь любимцем. Но те все молчали. Даже космонавт Рожковский. Нет, этот... Молчковский... Ну тот, но "ский". Досадно...

Так что с космонавтами у нас были установлены теплые, дружеские отношения. Оставалось установить такие же с остальным советским народом.

Однажды мы с приятелями попали в дом к одной знакомой девочке. Она нас позвала на чай. Или на кофе. Я уже не помню. Мы пришли. Девочка была немного смущена, потому что на диване спал какой-то парень. Подумаешь, я сам не раз спал на диванах у девочек, ничего особенного. Но тут парень проснулся, спустил ноги с дивана и фамильярно спросил:

— А вы кто такие, красавцы?

Это мне не очень понравилось. Я привык к невиданному уважению и немедленному признанию, а тут такое амикошонство.

— Мы-то гости, — сказал я. — Вот пришли к девочке на чай. Или кофе. Вам бы лучше самому представиться.

И, не слушая его ответа, пошел в переднюю повесить плащ. На вешалке висел мундир военного летчика. Полковника. Блестела звезда Героя Советского Союза. Пять рядов орденских планок. Справа еще какой-то золотой значок, я на него не обратил особого внимания. Я думал, что это мундир отца той девочки. Странно только, что его самого дома не было. Наверное, переоделся в штатское и ушел, чтобы не мешать тому парню спать на диване.

— Ну-с, — сказал я, войдя в комнату, — так как же вас зовут, милый юноша?

— Гера меня зовут. Герман Степаныч. А ты кто такой?

— А я и не знал, что у тебя папа такой заслуженный летчик, — сказал я девочке. — Я его китель в передней видел.

— При чем тут папа? — обиженно сказал парень. — Это мой китель.

— Ладно тебе, сказал я. — Ты еще молодой. Вырастешь — ста-

нешь летчиком, как папа. Будешь героем. Если, конечно, будешь хорошо себя вести.

Тут я увидел, что приятели, с которыми я пришел, как-то смущенно жмутся, что на них совсем не похоже, и тихонько толкают меня локтями, чтобы я перестал выжучиваться и обижать того парня с дивана.

И вдруг меня осенило.

— Пойдите, пойдите, — сказал я. — Герман Степанович. Полковник. Герой. Да вы часом не космонавт?

— Космонавт, космонавт, — недовольно пробурчал парень, и тут даже я увидел, что это Титов. Космонавт № 2. Вот тебе и раз! А я его совсем затуркал. Слепая тетеря! Неужели не видно, что если человек ведет себя нахально, то, значит, имеет на то право! Ну что за манера грубить космонавтам! Тем более, как вы помните, я и сам был любимцем космонавта Егорова! Мне даже захотелось немножко попеть: “Кто сказал, что прошли те года, о которых слагались легенды...”, чтобы он меня узнал и мы подружались. Потому что если ты любимец одного космонавта, то у тебя есть шанс стать любимцем другого.

Потом мы пили водку под огурцы. Разговаривали. И мне захотелось быть его любимцем. Потому что я увидел, что он верит каждому слову, написанному о нем в газетах. Он казался себе чем-то вроде былинного героя, а все люди — жучками-паучками, которых он удостаивал своим присутствием. И к той девочке он относился противно. И свысока. И ей было за него неловко.

Когда мы закончили бутылку, он сказал моему другу, который был старше него лет на пятнадцать:

— Эй, малый, слетай в магазин за другой, я заплачу.

И вынул пачку денег. И я обиделся за моего друга. Я сказал:

— Герман Степаныч, мой друг тебе не холуй. Ты сам возьми и сбегай. Гастроном напротив.

Он посмотрел на меня с таким изумлением! А меня уже несло:

— Почему ты считаешь себя выше других? Неужели оттого, что тебя зарядили в ракету, покрутили в поднебесье и спустили обратно? Но ведь то же самое сделали с твоей предшественницей, собачкой Белкой. Или Стрелкой. Не думаю, что она потом в своем собачьем питомнике плохо относилась к другим собачкам, которых

еще не запустили. Запустят когда-нибудь...

Он даже побледнел. Такое ему, наверно, никто не говорил. И я не хотел бы, да больно плохо он себя вел.

— И знаешь, — продолжал я. — Когда ты летел, нам говорили, что тебе было больно, и ты даже кричал от боли. Не знаю, правда ли это. Но одно это делало тебя человечнее. Ты был понятен. Если бы меня запустили, знаешь, как бы я орал? Как зарезанный! Страшно ведь. И больно. Куда же делась твоя боль? Неужели тот мундир тебе важнее дружеских отношений?

Он встал, сказал что-то кому-то за дверью и вернулся к столу. Мы молча допили стаканы. Он сказал:

— Вы не уходите, сейчас еще принесут. Там мои мальчики посуетятся.

И мы выпили вторую бутылку, которую кто-то просунул в дверь. И пошли к своим машинам: он к своей, а мы к своей. И на душе у нас было печально. Я все думал, что завтра он позвонит моему редактору, и тогда мне костей не собрать. И друзья мои думали то же.

Наша машина не заводилась. Ее надо было толкнуть. Мы толкали, но у нас было мало сил. Он уже сел в свою машину, которую вел шофер.

Я крикнул:

— Герман Степаныч! Ты же видишь, что у нас не заводится. Иди, толкни с нами. Неужели это ниже твоего достоинства?

Он полюнул и пошел к нам. И мы толкнули машину, и она завелась.

Он подошел ко мне и, улыбаясь, пожал мне руку. И лицо у него было, как на фотографии — симпатичное и веселое. Он сказал:

— Спасибо тебе!

Он, наверно, давно забыл о том случае. Сколько лет прошло! А я помню. Но только я не знаю, стал ли я любимцем еще одного космонавта.

## ФРЕСКИ В КЛИНУ

Я всегда с изумлением хожу по залам музея Хиршхорна в Вашингтоне. Я поражаюсь не только произведениям современных модернистских художников, но и терпимости музейных кураторов и зрителей. Ну взгляните на ту огромную картину, на которой изображен большой красный круг, перечеркнутый желтыми вертикальными полосами. Я знаю, что у зрителей, как и у меня, это полотно не находит должного понимания. Средний зритель ищет в искусстве ассоциации с живой жизнью, чтобы отойти от полотна с облегченным вздохом: "Ну надо же, как похоже!"

Или взять эту скульптуру: большая ржавая печка-буржуйка, сбоку к ней прикреплено старое велосипедное колесо, а сверху припилена мясорубка с ручкой. И никто не ругается. Никто не кричит, что его обманули, что вот в старое время было искусство, а теперь черт знает что, шарлатанство какое-то. Потому что понимают, наверное, что есть две свободы: свобода творить и свобода смотреть. Не нравится — не смотри. С другой стороны, зритель, вероятно, понимает, что художник знает об искусстве больше него, и не клянет художника за то, что он создает свое произведение не для данного зрителя, а как средство самовыражения. Короче говоря, в Америке избежали концепции "искусство принадлежит народу!" Этот лозунг был выдуман в России, чтобы пристегнуть художников к упряжке социализма. И когда они пристегнуты, как приятно взмахнуть кнутом и ужалить им того, пегого, который несется к заветной цели не так резво, как хотелось бы! Как тут не гыкнуть, не гакнуть, не матюгнуться! И какой русский не любит быстрой езды! Ах, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал! А выдумал ее тот, кто сидит на облучке с кнутом. И вместо раскатистого "но-о-о!" у него припасено другое понукание: "искусство принадлежит народу!" А раз принадлежит, то народ и есть главный судья искусства. И главный прокурор.

Все это я думал в музее Хиршхорна, а в моей памяти всплывало то утро в начале шестидесятых годов, когда в редакцию журнала "Юность", где я работал тогда, прибежал бледный скульптор



Вадим Сидур.

— Ну что делать? Они срубают фрески.

— Как срубают?

— Топорами. Топорами по фрескам.

Из его сбивчивого рассказа я понял, что скульпторы Силис, Лемпорт и Сидур по просьбе дома-музея Чайковского в Клину сделали на наружной стене дома керамические барельефы. Это были цветные фигурки музыкантов — скрипачи с причудливо расставленными руками: они как бы держали смычки, которых не было, и играли на скрипках, которых тоже не было. У художников был замысел показать не скрипачей, а саму музыку. И проходившие мимо жители города Клина, возглавляемые местными партийными и советскими органами, все время недоумевали.

— А где же скрипки-то? — говорили они. — Скрипки-то где? Это же какой-то пстракт!

Слово "пстракт" было в те годы очень важным. Оно было буржуазным, империалистическим и прогнившим. Оно было образовано из слов "абстрактное искусство", которое не принадлежало народу. Словосочетание было довольно сложным и выродилось в ругательство "пстракт", к удовольствию партийных лидеров, которым трудно было произносить слова, где было больше двух слогов.

Трудящиеся Клина, вооружившись топорами, решили срубить "пстракт" с домика Чайковского, потому что знали, что и Чайковский, и его дом, и все вокруг принадлежат им, не говоря уж о фресках, где ничего не понятно, а только режет глаз и ни на что не похоже. Остановить трудящихся могла только местная партийная власть, а добраться до нее, уже санкционировавшую топоры, было практически невозможно. Казнь скульптур была назначена на сегодняшнее утро. Надо было что-то делать.

Я позвонил домой главному редактору Борису Полевому. Он сразу принял решение:

— Пока я еду, пойдите в кабинет к Федину (главе Союза писателей в то время) и позвоните по "вертушке" в Клин. Я скоро приеду в редакцию и придумаю, что делать дальше.

"Вертушка" — это телефон внутренней связи, по которому переговариваются партийные чиновники "высшего эшелона". Все

основные вопросы решаются по "вертушке". "Вертушка" минуется секретарей и референтов. Брать трубку этого телефона имеет право лишь тот, в чьем кабинете он установлен. "Вертушка" — святая святых партийных привилегий. Федина, как всегда, в кабинете не было. Его секретарше я объяснил, что должен позвонить по просьбе Полевого, секретаря Союза писателей СССР. Секретарша Федина по особой телефонной книжке, которую она взяла в сейфе, соединила меня с главным партийным вождем Клина.

Я никогда до этого не говорил по "вертушке". И я не знал, как они между собой разговаривают. И к тому же, моя дурацкая фамилия...

Я не знал ни одного однофамильца Сталина. У Войновича есть герой, еврей Сталин, и вы помните, что с ним произошло в "Иване Чонкине". Троцкие в России превратились в Троицких. А Сусловы сохранились. И я был один из них. Но в обычной жизни это проходит незаметно. Правда, каждый норовит спросить: "А не родственник ли вы того Суслова?" И тут уж, в зависимости от ситуации, отвечаешь... Если говоришь с порядочным человеком, который на тебя не донесет, позволяешь себе сострить: "Даже не однофамилец". А если говоришь с сукиным сыном, начинаешь мяться и бормотать, что дядя, мол, не очень любит, чтобы я распространялся на эту тему... Сукины сыны начинают тебя уважать безмерно.

Теперь представьте, что вам звонят по "вертушке" и говорят, что звонит Суслов. Я не чувствовал себя самозванцем: ведь не Тюлькин я, а именно Суслов. Хотя Тюлькин тоже неплохая фамилия, ничуть не хуже Суслова. Но Тюлькин пока не работает в Политбюро.

— Говорит Суслов, — сказал я клинскому вождю. Я представил, как он вскочил, вытянулся по швам и замер. Я по телефону чувствовал, как у него напряглась каждая жилочка. Он как бы окаменел.

— Алло! — осторожно спросил я, — Слышите меня?

— Так точно, товарищ Суслов! — прошептал, выдохнул он.

— Я по поводу фресок на домике Чайковского, — сказал я. — Тут Борис Николаевич Полевой... думает, что это скороспелое решение... рубить, понимаете, топорами... Дикость какая-то... А вы что думаете?

— Будет сделано, товарищ Суслов, — ответил клинский вождь. — Я лично, лично я прослежу... Не беспокойтесь...

— Всего хорошего, товарищ, — и я повесил трубку.

Я представил себе, как он собрал своих райкомовских, какой дикий разнос он им сейчас учинит, как Клавка из отдела культуры будет плакать в коридоре, потому что она ведь хотела как лучше, и народ просил, потому что пстракт проклятый, непонятно ничего, как начальник городской милиции приказывает дружинникам и пенсионерам отнести топоры на место, ишь до чего додумались, воспитывать художников надо, а не топорами размахивать, топорами каждый может, и Иван Тимофеевич вишь какой недовольный, видно накрутили ему хвост из Москвы...

И как трудящиеся поворачивают от домика Чайковского, объединяясь в небольшие группы, чтобы в подъездах "на троих" обсудить, что же все-таки произошло и отчего не дали свершиться благому делу, потому как пстракт он и есть пстракт.

Приехал Полевой, позвонил по той же вертушке по своим каналам, Вадим Сидур вздохнул и посмотрел на меня с облегчением и завистью...

Великая "вертушка"!.. Сколько людей было возвышено ею, сколько низвергнуто. Какие ошибки и преступления были совершены одним телефонным звонком, раздавшемся из этого аппарата! Все кануло в Лету. Ни подписи, ни документа. История, не имеющая своих летописцев. Тайна. Вечность.

Через десять лет я работал в "Литературной газете". У нас было правило: на время праздничных и выходных дней кто-нибудь из состава редакции должен был дежурить в кабинете главного редактора, на случай, если позвонит "вертушка". Надо было записать фамилию или номер звонившего и дать знать Александру Борисовичу Чаковскому.

На какой-то праздник выпала моя очередь. Я сел в кабинете у Чака, как мы его называли, и стал писать что-то бессмертное.

Позвонила "вертушка". Странное, надо сказать, чувство. Еще ничего не случилось, а боязно.

— Слушаю, — сказал я.

— Саша? — сказали в трубке. — Хочу у тебя что-то спросить.

— Александра Борисовича сейчас нет. Это Суслов дежурит из отдела сатиры и юмора.

— Мне вас и надо, — сказал голос. — Это Александров из канцелярии Леонида Ильича.



— Да...

— Понимаете, мы тут с моими коллегами сейчас прочли рассказик на вашей странице. Они говорят: смешно, а я вот не согласен. Мне не смешно. А вам смешно?

Ну-ка, милый читатель, поставьте себя на мое место. Вот-вот, именно это я и чувствовал. Я осторожно спросил:

— Товарищ Александров, вы мне сейчас звоните как помощник товарища Брежнева или как читатель?

— Да что вы! — сказал он, — конечно, как читатель. Я и Саше позвонил, чтобы узнать его мнение.

— А если как читатель, — разъярясь, сказал я, — так чего ж вы звоните по "вертушке"? Так и инфаркт схватить недолго! Я по "вертушке" такие вопросы обсуждать не могу! У меня тоже нервы есть! Позвоните в мой кабинет по нормальному телефону, и я вам все объясню.

— А у меня другого телефона и нет, — простодушно сказал Александров. — Но я попробую. Что это им смешно, а мне не смешно? Что я, хуже их, что ли?

Я дал ему свой номер и помчался на пятый этаж.

— Ну надо же! — говорил я себе. — А если бы он нарвался на Чака? Где бы я сегодня был? Ведь Чак не понимает, что он, этот деятель, звонит как читатель! Для него сам вопрос по "вертушке" — уже директива!

Александров позвонил по моему телефону, и я объяснил ему, почему его коллеги правы, а он нет. Рассказ действительно был смешной. И острый. Я, конечно, не стал рассказывать ему про подтекст и про неуправляемую ассоциацию, но ему и так было приятно, что кто-то ему объяснил, и теперь он все понимает. И мы очень тепло простились. И я не загремел с работы...

М-да. Вот так и были спасены фрески на домике Чайковского в Клину.

Их снесли, конечно. Но это было уже в следующем году.



## ОККУПАНТЫ

Моя подруга Авива называет меня оккупантом.

“Зачем вы пришли в нашу страну, оккупанты?” — спрашивает она.

Авива приехала из Риги лет пятнадцать назад. Она совершенная американка, но все равно обращается со мной, как с оккупантом.

“Авива, — говорю я, — я не оккупант. Мне тогда было всего семь лет. Я вас не оккупировал.”

“Все равно оккупант, — говорит Авива. — Кто вас звал? Вы всегда так: кто меньше и слабее вас, тех вы и захватываете. Гадко это...”

“Я с тобой согласен, — говорю я. — Не приставай.”

А мысли мои где-то там, в прошлом... Читатель, вероятно, ждет, что сейчас я перенесусь в Чехословакию, в Венгрию, в Афганистан... Нет, я иду по Первой Мещанской с Марком и говорю:

— Ну что делать? Родителей жалко. Когда я не прихожу домой ночью, они не спят. Нам с тобой уже под тридцать, а для стариков наших мы все еще дети...

— Что же ты хочешь? — отвечает Марк. — Пока мы живем с родителями в одной комнате, так всегда будет.

— Ну не могу же я привести Лидку домой! — возмущаюсь я. — Проклятое жилье! Где его взять?

Марк молчит. У него та же проблема.

— Вот что, — говорю я. — Давай, сыграем в одну игру. Я напишу письмо Суслову. Суслову от Суслова. Я напишу его очень искренне. Может быть, какой-нибудь холуй растрогается и передаст ему письмо. А там — чем черт не шутит? Вдруг даст команду?.. Вот просто так!

— Дурак ты, — сказал Марк. — Дожил до седых волос, а дурак. Ну зачем ты товарищу Суслову? У него таких писем — миллион. Каждому комнату давать? Ты опупел малость. Женись на богатой девочке — вот тебе и комната!

— Ну не хочу я на богатой! — говорю я. — Что я с ней ночью буду делать?

Я иду домой и пишу письмо.

*“Москва. Кремль. Товарищу Суслову М. А.*

*Уважаемый товарищ Суслов! Я молодой инженер. Мне 28 лет. Я живу с моими родителями в одной комнате. У нас большая светлая комната 19 квадратных метров. И соседи у нас только одни — муж и жена. Старенькие. И мы с ними дружим. У нас все удобства: вода, отдельный туалет, кухня, ванна. Мама моя очень переживает, что я до сих пор не женился. Но я не могу этого сделать, потому что мне некуда привести жену. Жениться по расчету я не хочу. А встать на очередь на получение комнаты я не имею права: у нас больше трех квадратных метров на человека, и никакой райисполком не примет наше заявление. Вступить в кооператив я тоже не могу, потому что я получаю всего сто тридцать рублей в месяц, а у родителей моих денег нет. Вот такая проблема, уважаемый товарищ Суслов. Что меня побудило написать вам? Во-первых, я тоже Суслов, а Вы, быть может, не так уж часто получаете письма от своих однофамильцев. Меня и так все донимают: не родственник ли я Вам? А во-вторых, вдруг у Вас есть сын моего возраста. Он ведь тоже тогда Суслов. И вдруг у него те же проблемы, что и у меня? Спросите его. И, пожалуйста, дайте мне комнату, чтобы я мог, наконец, порадовать маму, а то она ждет не дождется внуков. Не могу же я производить их в одной комнате с папой и мамой. Уважающий Вас Илья Суслов.”*

Я вышел на улицу и бросил письмо в почтовый ящик.

— Илья, — сказала мне бледная начальница, — вас вызывают в райком партии. К секретарю. Что вы еще натворили?

— Чего это они? — сказал я. — Я беспартийный.

— Раз вызывают, надо идти, — сказала начальница.

Я пошел.

В райкоме милиционер проверил мою фамилию, посмотрел в список и пропустил наверх. Секретарь райкома оказалась женщиной. Такая блондинка с шестимесячной. Мы разглядывали друг друга.

— Вы писали письмо в Центральный комитет партии? — вдруг спросила она.

— Э-э-э..., — сказал я, — в каком смысле?

— В простом смысле. Вы писали письмо товарищу Сулову?

— Сулову?

— Ну что вы, — мягко улыбнулась она. — Я же вас не съем. Сулову.

— А, Суслову! Суслову писал.

— Отчаянное, надо сказать, письмо.

— А почему, собственно, вы меня вызвали? Я ведь Суслову писал.

— Ну вы же понимаете, что товарищ Суслов не сможет вас принять. Вот меня и попросили с вами поговорить.

— А почему бы, кстати, ему меня не принять? — немного наглея спросил я. — Я ведь не заразный.

— О-о! — сказала она. — Вы этот тон оставьте. Вы не у тети Вали на именинах.

— Хорошо, — сказал я. — Так как там с комнатой? Куда приходиться за ордером?

Она внимательно на меня посмотрела. Лицо ее было холодным и строгим.

— Вы знаете, что у нас была война? — спросила она. — Вы знаете, сколько людей у нас еще живут в подвалах и бараках? По шестнадцать человек в комнате живут. А вас всего трое.

— Вы тоже в бараке живете? — спросил я. — Может, в подвале живете?

Она изумленно откинулась в кресле.

— Суслов, — сказала она. — Я ведь хотела по-хорошему. А вы опасный человек!

— Почему же я опасный? — сказал я. Меня уже несло. Паршивый мой язык уже молот то, за что его давно следовало бы откусить. "Чтоб ты откусил себе язык!" — всегда просила мама. — Я не опасный. Я любопытный. Вы когда в Москву приехали?

— А это уж вас совсем не касается!

— Ну почему же? Вот вас же касается то, что я написал Суслову. А я, знаете, родился в этом городе. И всю жизнь здесь прожил. Это мой город. Я знаю здесь каждую улицу, каждый проходной двор. Я здесь учился. Я здесь работаю. И родители мои здесь всю жизнь прожили. И проработали. А двери себе, обычной двери, отделяющей одного взрослого человека от другого, мы не заработали. Как же это? А вы приехали...

— Суслов, — со смехом сказала она, — вы со мной разговариваете, как с оккупантом!

Я посмотрел на нее с огромным изумлением. Клянусь, такая мысль не приходила мне в голову!

— Знаете, — сказал я, — отдайте мне мое письмо. Считайте, что я его не писал. Это я пошалил. Под пьяную лавочку. На спор. Я с приятелем поспорил, что Суслов даст комнату Суслову. Видно, не судьба. Мы уж доживем. У нас ведь 19 метров, все удобства. Занавесочка красивая посередине. Чтобы маму не будить, когда я поздно возвращаюсь. Чего там? У нас полный ажур. Вот люди из барачков переедут, и нам дадут. Верно? И война ведь была. Про войну я и забыл. Как же я мог?

Она смотрела с сочувствием.

— Не надо про войну, — сказал я. — Она ведь двадцать лет назад кончилась. И мы в той войне победили. Немцев и японцев. Только у них почему-то у каждого есть дверь. Не читали? Так кто кого победил?

— Вот это вы зря! — сказала она. — Это явно с чужого голоса напето.

Я улыбаюсь. Губы мои улыбаются, а глаза у меня плачут.

— Не надо, Суслов, — говорит она. — Не надо.

— Давайте письмо, — говорю я, — и забудем об этой шутке. Я ведь шутник.

— Ну как же я отдам, — жалобно говорит она, — оно ведь зарегистрировано. Я обязана ответ давать.

— Какой?

— Ну, мол, проведена беседа. Товарищ все понял.

— Так и напишите.

Я забираю со стола свое письмо и ухожу...

“Эй, оккупант, — говорит Авива, — когда придете в гости?”

Мы садимся с женой в машину и едем в гости. Я нарочно пересчитал, сколько у них дверей. Двенадцать...

## ЕРЕВАН

“Клуб 12 стульев” “Литературной газеты” был очень популярный. “Литературку” читали по-еврейски — справа налево, с последней, 16-ой полосы, где и размещался отдел сатиры и юмора. Ее лю-



били за то, что в ней старались писать правду. Конечно, это нельзя было делать в прямой форме. Нельзя было сказать, например: "Как ужасна и отвратительна советская власть!" А можно было сказать так: "Стояла тихая Варфоломеевская ночь". И имеющие уши слышали. И радовались, что все-то они понимают. Я редактировал эту полосу семь лет, с самого ее начала. Когда меня вызывал главный редактор и спрашивал: "А что вы, собственно, хотите этим сказать?", я отвечал: "А что вы подумали? Уж не хотите ли вы сказать, что этот афоризм применим к нашему строю? Странные какие-то у вас мысли..." И многое сходило с рук. Потому что на первых порах нам давали волю: газета должна была привлечь как можно больше читателей, ибо ей отводилась особая роль. В ней должны были проходить материалы, статьи и комментарии, которые по тем или иным причинам нельзя было печатать в "Правде" или "Известиях". Поэтому наш отдел был "наживкой", на которую должен был попасться массовый интеллигентный читатель. Вот нам и разрешили шалить. Мы и шалили. Когда образовался круг постоянно сотрудничающих с нами писателей (а мы уж отбирали самых талантливых), то нас стали приглашать выступить в различных научно-исследовательских и учебных институтах, в клубах и дворцах культуры, перед воинами доблестных вооруженных сил (так называли себя генералы и офицеры военных округов), в домах творческой интеллигенции и на стадионах. И мы превратились в хорошо организованное литературное шоу и загребали лопатой, деньги, которые чаще всего пропивались или шли на покупку предметов широкого народного потребления из-под прилавков лучших магазинов Москвы. Наше шоу называлось "Клуб 12 стульев" "Литгазеты" в гостях у..."

Успех наш объяснялся еще и тем, что чаще всего с эстрады мы исполняли произведения, которые по цензурным соображениям не удалось напечатать на странице газеты. А они и были самыми смешными и талантливыми. А начальству, устраивавшему нам концерты, в голову не приходило, что мы занимаемся такой идеологической контрабандой, ведь не сумасшедшие же мы.

И народ шел на нас, как на Муслима Магомаева. Как было сказано в одном афоризме: "В зале яблоку негде было упасть. Да и неоткуда".

Все это я рассказал лишь для того, чтобы объяснить, каким

образом мы попали в Ереван. Надо сказать, что Ереван был примерно 83-м городом, который мы посетили с концертами. Обычно мы уезжали в пятницу вечером и за выходные дни давали пять концертов. После работы в пятницу нас уже ждала машина, чтобы отвезти в аэропорт, и обратно мы тоже летали на самолете, чтобы быть на рабочем месте в понедельник утром. От такой жуткой нагрузки мы спасались только коньяком, который тоже всегда был в нашем распоряжении. Так вот, мы прикатили в Ереван...

Да, чуть не забыл! Перед этим нас пригласили выступить в клубе имени Дзержинского в Москве. Пришли ко мне трое молодых людей. "Очень мы хотим видеть вас, товарищи писатели, на нашем вечере отдыха. Комитет комсомола устраивает праздничный вечер, и все просто мечтают вас увидеть. Вы не волнуйтесь, мы заплатим за выступление. У Комитета всегда есть деньги на культурно-просветительную работу..."

— У какого комитета? — спросил я.

— Ну у Комитета..., — замялся молодой блондинчик, спортивный такой, голубоглазый, чуб, как у Сергея Есенина. — У Комитета государственной безопасности...

— Мама родная, — сказал я. — Видно, пробил мой час!

— Да ничего подобного! — обиделся блондин. — Мы ведь тоже читатели. И любим вас не меньше других.

— Вы мне позволите посоветоваться с начальством? — робко спросил я.

— Конечно, конечно, посоветуйтесь, — сказал второй, — если оно будет возражать, мы поднажмем.

— Вы уж поднажмите, — сказал я. — А что же у вас исполнять-то? Ведь у нас, знаете, сатира, острое всякое, с перчиком...

— Во-во, вот это нам и надо, — сказал блондин. — У нас поострее. Нам нашему начальству тоже хочется хвост подкрутить. Пусть, понимаете, повернется под лучом сатиры.

— Товарищи, — сказал я своим авторам и коллегам, — нас пригласили выступить перед доблестными чекистами, этими рыцарями без страха и упрека, у которых должны быть чистые руки, горячее сердце и что-то еще, что я забыл. Готовы ли вы, товарищи?

Товарищи дипломатично молчали.

— Во дает, — восхищенно сказал блондин. — Ну как по писаному! Так мы уж ждем, дорогие наши сатирики.

Зал клуба имени Дзержинского был набит битком. Мы смотрели в зрительный зал и обливались холодным потом: мы ожидали, что в зале будут майоры Пронины, похожие на молодого артиста Михаила Жарова, который в кино играл красивых энкаведешников, или, по крайней мере, Штирлицы с проникновенным взглядом, смело вскрывающие планы врага, но в данную минуту решившие отдохнуть от оперативной работы в кругу модных писателей-сатириков. Вместо этого, в зале сидела... улица. Да, да, это были те прохожие, которых мы ежедневно видим в очередях, в троллейбусе, в трамвае, в кино, на лестничной площадке... И это было самое ужасное: в каждом прохожем мы будем видеть теперь "бойцов невидимого фронта", молоденьких и стареньких, плешивых и кудрявых, забулдыг и модников, в джинсах и дубленках, в галстуках и в фартуках...

Нас представлял веселый крепыш в штатском. Он, между прочим, сказал:

— А смешного в нашей жизни еще много. Вот, помню, приехал я в командировку в Ленинград. А тут как раз демонстрация. Праздник седьмого ноября. Выходит на Невском на балкон один старичок. И кричит что-то с балкона. А снизу демонстранты кричат ему ура. Я, понимаешь, прислушался, а что он кричит? А он кричит следующее: "Смерть врагам мирового капитала!" И все кричат ему ура! А вы вдумайтесь, что кричал тот зловредный старик. Смерть врагам мирового капитала — это выходит смерть нам! Потому что мы и есть враги мирового капитала! А о чем это говорит? Это говорит о том, что мы уже не вслушиваемся в слова, они как стертые, понимаешь, монеты, больше ничего не означают. И орем ура! Вот какая смешная история!

Мы переглянулись, но отступить уже было невозможно.

И мы им выдали все безо всяких купюр. И чувствовали себя, как в клетке у льва. Кагебешники смеялись, как студенты. Потому что и им, наверное, хочется иногда расслабиться.

Такая маленькая деталь. Во втором отделении вдруг пришел за кулисы тот блондин, что устроил этот концерт. Он сказал:

— Вы меня извините, мне нужно сделать заявление в зал. Но вы продолжайте, мы скоро вернемся. Он вышел на сцену и сказал:

— Группа скандирования, к выходу!

И со всех рядов стали подниматься наши зрители и спешить



к выходу. Я спросил:

— Что это за группа скандирования?

Он ответил:

— Ну сейчас же съезд партии проходит. Мы аплодисменты устраиваем. В нужных местах. Ну знаете, когда все вместе кричат "Слава КПСС!" Так это мы начинаем.

А я и не знал. Я думал, что это у них от глубины чувств. Я думал, что они, как Лев Толстой, не могут молчать. А это, оказывается, группа скандирования.

Но концерт прошел с большим успехом.

А потом мы поехали в Ереван...

Нет, не могу удержаться, чтобы не рассказать о концерте в Высшей школе профсоюзного движения. Оказывается, есть и такая. Когда нас пригласили, мы думали, что там учатся не пришедшие ко двору профсоюзные начальники. Ну знаете, те, что проворовались, или оказались совсем уж неспособными, тех обычно отсылают "на учебу" в такие вот смехотворные учебные заведения. И ничего подобного! В той профсоюзной школе учились... иностранцы. В большом актовом зале сидели индусы и латиноамериканцы, африканцы, арабы... Кого там только не было! Мы бубнили наши байки, а их никто не понимал. Довольно кислое зрелище, когда ты остришь, а никто не смеется. Глупо, конечно.

После выступления мы беседовали с начальством этой школы.

— Наши студенты, — объяснял нам ректор, — приехали из различных стран, борющихся за свою независимость. Многие из них приехали под псевдонимами, потому что в своих странах были известными партизанскими вожаками. Мы учим их, как бороться за независимость в отдельно взятой стране и как затем удержать добытую в борьбе власть. Среди них, кстати, несколько принцев крови и детей из весьма состоятельных семей.

— Очень интересно, — сказали мы. — Вот оно как обстоит... Но как же они здесь живут? Как досуг проводят?

— Вот это, — сказал ректор, — наша главная неприятность. Они ведь привыкли у себя в странах к моральной распущенности, и без этого уже никак не могут. Им каждый день подавай женщину! А где мы им возьмем? У нас ведь публичных домов нет. Мы им объясняем, что, мол, закончите образование и езжайте себе с богом



туда, где секс этот проклятый расцветает. Да разве они понимают? Возьмите того же товарища из Уганды. Он ведь и зарезать может, если не пойти ему навстречу.

— Как же вы выходите из положения? — сочувствуя товарищу из Уганды, спросили мы.

— Да вот приходится вертеться, — грустно ответил ректор. — У нас тут неподалеку швейная фабрика. Вот мы и устраиваем вечера дружбы с танцами. Работниц фабрики приглашаем, ну и приходится закрывать глаза на нарушения морального кодекса... Мировое революционное движение, — сказал он, повысив голос, — не может проходить без некоторых жертв. В том числе, и с нашей стороны.

Ну, ладно, ближе к теме.

Так вот, приехали мы в Ереван...

## СТИШОК О ДЕМОКРАТИИ

Вошел старый неряшливый человек — поэт Александр Безыменский. Еще в самом начале мы в "Клубе 12 стульев" решили, что "старая гвардия" сатириков, насмерть запуганная Сталиным и умеющая прославлять режим, критикуя только то, что неудобно этому режиму, не будет заполнять своими "позитивными" творениями нашу страницу. Мы полагали, что с них достаточно "Крокодила". Некоторым из "стариков" все-таки нравилось то, что мы делаем, и они старались перестроиться и писать в нашем стиле. Но Безыменский знал, что в "Клубе 12 стульев" ему делать нечего, и никогда не заходил.

Я встречал его раньше в Доме литераторов. Репутация у него была неважная. Он был очень знаменит в двадцатых и тридцатых годах, он тогда был из самых оголтелых. Его агитки, крикливо и небрежно написанные, очень нравились начальству. Его напускали на самых талантливых писателей тех лет, и он писал в стихах и прозе письма в правительство, требуя "расстрелять, как бешеных собак, кровавую фашистскую троцкистско-зиновьевскую банду". Мне довелось как-то взять в руки "Литатурку" тридцатых годов, где

печатались эти письма, и увидел под ними подписи многих уважаемых ныне литераторов, которые не знаю как бы себя чувствовали сегодня, покажи им эти кликушества. "Если враг не сдастся, его уничтожают!" Если, по их понятиям, сам Горький мог, то что им оставалось делать? Но Безыменский старался больше всех. Он был старый комсомолец, и на лацкане его задрипанного пиджака всегда висел комсомольский значок.

Он принес стишок.

Я прочел:

Зал озирая хмурым взглядом,  
Был председатель зол и хмур:  
"Пять человек избрать нам надо..."  
Назвали пять кандидатур.

Дальше я не очень помню, но потом кто-то из зала крикнул, что пора подвести черту... И вдруг стихотворение кончилось так:

От демократии черта  
Не оставляет ни черта!

Я посмотрел на него. Он безучастно смотрел в окно. Старый, много переживший человек.

— Что с вами, Александр Ильич? — спросил я. — Не идут ли эти замечательные стихи вразрез с вашими убеждениями?

— Нет, я так сейчас думаю, — сказал он.

— Я сделаю все, чтобы это напечатать, — сказал я. — Только вот не знаю, пропустит ли это Чаковский. Эта штука посильнее, чем фауст-патрон.

Он усмехнулся.

Я пошел вниз, к начальству.

Начальство прочитало.

— Не надо нам этого, — сказала оно. — Это не для нас.

— Да? — сказал я. — Вы уверены? Знаменитый рупор партии Александр Безыменский приносит стишок, призывающий к восстановлению ленинской демократии в низовых организациях, а вы считаете, что это не для нас? В первый раз есть возможность напечатать истинно партийные агитационные стихи, написанные истинно совет-

*ским* мастером, а вы считаете, что это не для нас? Это как понять? Много ли в последние годы я приносил вам по-партийному поставленные вещи, в духе Демьяна Бедного и позднего Маяковского? И вам этого не надо? Да Безыменский просто напишет жалобу в ЦК, а вы знаете, чем обычно кончались его жалобы!

Начальство задумалось.

— А если это будет понято как процедура выборов в Политбюро? — спросило оно.

— Это кому же в голову придет так подумать? — спросил я. — Я, например, так не подумал. А вы подумали?

— Не морочьте голову, Илья Петрович, — сказала начальство. — С другой стороны, Безыменский... На него так не подумают. Уж очень он был верноподданный.

— Вот видите. Печатаем?

— Пожалуй.

Я вернулся к себе и сказал Безыменскому:

— Завтра вы проснетесь другим человеком. Вы написали замечательный стишок. Вам будут звонить люди, которые не разговаривали с вами тридцать лет. Что стоило вам раньше писать честные стихи?

— Я думал, что я пишу честные стихи, — недоверчиво сказал он.

Наутро стихи появились в газете. Он позвонил мне в три часа дня и сказал:

— Что вы со мной сделали? У меня с утра разрывается телефон. Все поздравляют. В чем же дело? Из-за малюсенького стихотворения...

— Александр Ильич, иногда люди остаются в истории одной строчкой...

— Я так рад, так рад... Я вам принесу еще.

Он принес еще одно стихотворение. Оно было похуже, там не было столь афористичного конца, но не менее острое.

Я пошел к начальству. Начальство сказала нет. Я убеждал. Начальство было непреклонно. Я орал. Начальство тоже. Я вернулся ни с чем.

— Не пойдет, — сказал я Безыменскому.

Он сразу потух, съежился, постарел.

— Видите, что вы наделали в свои двадцатые-тридцатые! — безжалостно сказал я. — Ведь это вы лично и ваши соратники все так

устроили. А теперь цензура бьет по своим. Как аукнется...

— Кто же мог знать? — пробормотал он.

— Надо было знать.

Он был очень похож в эту минуту на свою эпиграмму. Ходили по Москве ненапечатанные злые эпиграммы на разных поэтов и писателей. Я не знаю, кто их автор. Фольклор. Про Безыменского была такая:

Волосы дыбом, зубы торчком,  
Старый дурак  
С комсомольским значком.

Жестокая, злая шутка. Но где-то правдивая. Я смотрел на старого, проигравшего свою жизнь поэта, который не остался ни в чьей памяти, и повторял его строчки:

От демократии черта  
Не оставляет ни черта...

## АГИТАТОР

Когда я работал в редакции журнала "Юность", меня назначили агитатором. Секретарь парторганизации сказал мне:

— Скоро выборы. А у тебя ни одной общественной нагрузки. Будешь агитатором.

— А кто у нас кандидат в депутаты? — спросил я.

— Не знаю, — сказал секретарь. — Какая разница? Обеспечь активность. Избиратели должны во-время отметиться и придти на избирательный участок. Кто не сможет по состоянию здоровья, тому урну принесем на дом.

Мой участок находился в районе улицы Герцена. Там, в одном из переулков стояли коммунальные развалюхи с общими уборными и кухнями. Я узнал, что депутатом у нас будет художник Серов. Не тот Серов, который "Девушка с персиками", а тот, который



“Ленин провозглашает советскую власть”. Это было бы полбеда, мало ли халтурщиков писало картины о том, как Ленин провозглашает, Сталин выступает, а Ворошилов катается на лыжах. Но этот Серов был главным душителем художников, потому что, занимая должность президента Академии художеств, он имел доступ к самому Никите Сергеевичу и нашептывал необразованному вождю, какие именно слова он должен произносить, оценивая произведения художников, особенно молодых. И это на его совести была так называемая “белютинская” выставка в Манеже.

Белютин был превосходный педагог, вокруг которого собралось в те годы много прекрасных художников. Время было странное, все ждали перемен. Хрущев выкинул Сталина из мавзолея, возвращались реабилитированные... И вдруг белютинским художникам разрешили повесить свои картины в Манеже, главной художественной галерее Советского Союза! И на эту выставку Серов привез Хрущева. Он водил его от картины к картине и шептал на ушко слова. А Хрущев, пьяный и разгоряченный, лишь восклицал “Ну, педерасы! Во педерасы!” Он не имел в виду сексуальные предпочтения этих художников, потому что трудно было представить себе, что все белютинцы, среди которых было много отцов семейств и холостых людей, предпочитавших женское общество, были гомосексуалистами, по-русски педерастами, а по-хрущевски “педерасами”. Это он просто выражал так свое возмущение. Эрнст Неизвестный, участвовавший в этой выставке, попробовал было урезонить разбушевавшегося вождя, но унять Никиту Сергеевича было невозможно, потому что он видел, что на картинах этих будто ничего не нарисовано — ни леса, как у Шишкина, ни запорожцев, как у Репина, ни Ленина, как у Серова. А наоборот, какие-то пятна, линии, крючки и квадратики, от которых у вождей рябит в глазах и начинается головная боль.

— Педерасы! — ревел Хрущев, а Серов удовлетворенно улыбался, потому что для этого он и организовал выставку белютинцев в Манеже.

Мой друг Коля Воробьев, участвовавший в выставке, потом рассказал мне, что Хрущев остановился у его картины. Он был багровый, маленькие голубые глазки его бегали в некоем помутнении. Он брызгал слюной и орал на бедного скромного Колю:

— Ну и чего у тебя здесь намалевано, педерас?

Взмокший Коля Воробьев, прошедший солдатом всю войну и не привыкший к воплям вождей, полез в карман, чтобы вынуть платок и утереть лоб. В эту секунду некто серый с перекосенным лицом возник между ним и Хрущевым и, сделав страшные глаза, прошипел:

— Вынь руку из кармана, сука, вынь руку!..

Коля вынул руку, серый мгновенно испарился, а Хрущев, даже не заметивший серого, орал:

— Так что у тебя здесь намалевано, педерас?!

С этой выставки, как многие считают, и пошел ново-сталинский путь России. Иллюзии, возникшие после двадцатого съезда партии, развеялись. Вот почему мы плохо относились к художнику Серову, за которого мне предстояло агитировать в избирательной кампании...

Я собрал жильцов — будущих избирателей на их коммунальной кухне и рассказал биографию кандидата. Жильцы слушали внимательно, потом одна старушка, Яхонтова, спросила:

— А что, человек-то он хороший?

— Не думаю, бабушка, — сказал я. — Человек он, по-моему, жуткий. Гадкий он.

Избиратели зашевелились.

— Так чего за него голосовать? — спросил слесарь со второго этажа. — Дадим ему отвод. Чего он плохого сделал?

Я рассказал о социалистическом реализме, о художниках, о выставке в Манеже, заменяя хрущевское "педерасы" словом "тра-та-та", чтобы не смущать женщин и детей, набившихся в кухню, о двадцатом съезде партии, о надеждах и разочарованиях так называемой "творческой интеллигенции". Меня внимательно слушали.

— Милый, а тебе не попадет за такие-то слова? — снова спросила старушка (настырная, надо сказать, была старушка).

— Может, и попадет, бабушка, — сказал я — видно, не гожусь я в агитаторы. Но вы уж, пожалуйста, проявите сознание, и в воскресенье, в день выборов, приходите на избирательный участок. Если вы не придете, тогда мне определенно попадет.

— Я не пойду, — сказал слесарь. — Пусть раньше канализацию исправят. Четвертый месяц течет.

— А нам жилье уже восемь лет обещают. — сказала миловидная девушка из полуподвала. — Пусть дадут комнату, тогда пойду.

— Дорогие избиратели, — сказал я, — я доведу ваши пожелания до сведения избирательного начальства. Надежды, правда, маловато, но чем черт не шутит.

Я был очень недоволен собой. Ну чего я растрепался? Кому это интересно? И что это изменит? Серов все равно будет выбран, а стоит одному из этих жильцов стукнуть куда следует, я ж пропал! Уволят. Да просто посадят! Дурак. Шлёма Капельдудкин.

С горя я зашел в кино. Шла советская мелодрама по сценарию моего приятеля. Дурацкая. Лживая. Диалоги были невыносимы. Актеры мучились, но исправно произносили слова, которыми в обычной жизни люди никогда не пользуются.

— Алё, — сказали сзади с придыхом, — У тебя штопор есть?

— Какой штопор, почему штопор?

— Что ж ты, сука, в кино без штопора ходишь? — прохрипели сзади.

Артистка на экране говорила своему жениху, только что вернувшемуся из армии: "Посмотри, как расцвело наше село! Когда ты уходил в армию, у нас не было ни этого нового телятника, ни этих новых яслей, ни этой новой сельскохозяйственной техники!" Актер держал возлюбленную за руки и озабоченным взглядом вместе с камерой обзирал телятник, ясли и технику. Хотелось удавиться.

Избирательный участок находился в здании Союза писателей на улице Воровского. Там же тогда размещалась наша редакция. В день выборов агитаторы должны были явиться к шести часам утра и отмечать своих избирателей. Мы были чистые, при галстуках, трезвые. Местное начальство и члены избирательной комиссии тоже явились во-время. В комнате для выборов стояли цветы, у урн дежурили пионеры в белых рубашках и красных галстуках. К шести утра началось шествие трудящихся. Они знали, что самых первых снимают для газеты. Всем хотелось быть в газете: и местному алкашу дяде Сереже, который стоял, уже бухой, с пяти утра. Он хотел быть самым первым. Потом пришли молодые избиратели, голосующие впервые. У них были радостные, возбужденные лица. Мой друг Толя из "Вечерки" брал у них интервью. Он спрашивал:

— Это верно, что вы, самые молодые избиратели Советского Союза, с чувством огромной благодарности к Родине, к партии, отдадите сейчас ваши голоса за кандидатов нерушимого блока ком-



мунистов и беспартийных?

— Ага, — говорили избиратели.

— Молодец, сынок, — брезгливо говорил Толя. — Как твоя фамилия? Где работаешь?

А моих все не было. Секретарь парторганизации сказал мне:

— Отстаешь. Смотри, как у других активно идут. Поработали, значит, агитаторы. А твои где? Хочешь мне всю картину испортить?

Я нервничал. Я даже решил побежать в ту развалюху, чтобы христом-богом попросить их проголосовать. Я хотел даже извиниться за то, что я им рассказал о Серове. Дернул меня черт за язык!

Но тут в дверях показались мои жильцы. Старушка Яхонтова подмигнула мне и пошла за бюллетенем, где стояла фамилия Серова. Я торжествовал. Старушка поглядела в бюллетень, потом на меня и пошла... в кабину для голосования. Я похолодел. Эти кабины со шторами, как известно, стоят для проформы. Кому это придет в голову заходить в кабину? Да и зачем? Получил бюллетень и опусти его в урну. Такой ведь порядок. Зачем бабуся поперлась в кабину? Но самое страшное, что все жильцы мои сделали то же! Они выходили из кабины, покрасневшиеся, улыбающиеся, и бросали бюллетени в урну, прикрывая их от косящих глазами пионеров и активистов в штатском, обычно стоящих поодаль.

Мой секретарь смотрел на все это с большой подозрительностью.

— Чего это они? — спросил он меня. — Чего они там не видели?

— Не знаю, — сказал я. — Может, они хотят вдумчиво изучить биографию кандидата.

— Чего там изучать? — спросил секретарь. — Там ничего не написано... Какой-то странный у тебя народ...

Девушка из полуподвала, проходя, сказала мне:

— Комнату, конечно, не дали. Но обещали. Говорят, в самом ближайшем времени предоставим...

— Ну-ну, — сказал я. — Дадут, не забудьте пригласить на новоселье. А вы зачем в кабину заходили?

— А это спрашивать не полагается, — сказала девушка. — У нас ведь тайное голосование.

— Ах, милая, как бы это не вышло нам боком...

— Куда же больше? — сказала девушка. — Вся наша жизнь вышла боком. И ничего тут не поделаешь.

И она заплакала.



## ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО

Меня всегда удивляла неспособность американцев понять чужую психологию. Многие из них никак не могут понять, как это евреи допустили, чтобы их уничтожил Гитлер. Ну как же так, говорят они, вас, евреев, было в тех ужасных лагерях шесть миллионов! Да если бы вы восстали, захватили оружие, то перебили бы своих мучителей, как щенков! Да как же так, говорят они, вы русские так долго терпите свое правительство! С кем ни поговори, никто из вас его не любит. Так свергните его к чертовой матери! Вас же двести миллионов! Если бы вы восстали, то никаких Лениных, Сталиных, Хрущевых и примкнувших к ним Шепиловых и в помине не было! Прямо даже не верится, говорят они, вроде бы вы нормальные люди. А, может, все-таки ненормальные? Может, вы такие вот скрытые мазохисты и вам нравится, когда вас мучают? А, может, вы и в самом деле рабы? В черепок-то к вам не заглянешь...

Я долго спорил, доказывал, орал, терял терпение, а потом сделал эксперимент. Я попросил одного наиболее задиристого американца сыграть со мной представление. По системе Станиславского. Поставить себя в предполагаемые обстоятельства. И соответственно этому говорить и действовать.

Условия были такие. Представь себе, что в Америке нечаянно случилась революция, власть захватила хунта, которая расставила своих людей на всех участках жизни, назвала себя партией... Ты в это время был на рыбалке в Майами и ничего не знал. Приехал домой, и вот тебе здравствуйте: над Белым домом висит красный флаг...

— Но это же невозможно!..

— А ты же играешь со мной пьесу. Вообрази. Есть у тебя воображение?

— Ну ладно.

— Представь себе, что пока ты летел домой из отпуска, все заводы и фабрики, все банки и магазины были национализированы, то есть попали в руки этим людям. И от них теперь зависит, работаешь ты или нет. Никаких пособий по безработице. Никаких вэлферов. Будешь вести себя хорошо, к тебе поделят в дом лишь одну семью из даунтауна. Плохо — поделят две, или три (по количеству туале-

гов в доме) .

— Перестань, у меня мурашки по коже...

— И у нас были мурашки по коже. Государство установит единую для всех зарплату. Тем, кто за новую власть, дадут больше. Кто против — ничего не дадут. Для тех, кто борется с новой властью, или собирается бороться, или может бороться, или думает, что может бороться, или даже не думает, что может бороться, устроены специальные зоны проживания на Аляске. Там тоже тундра, тайга, и все такое. Вот у венгров или чехов не было тайги, пришлось им ехать в Сибирь. Без тайги и тундры такие зоны проживания не очень действенны. Вот такие условия. Понял?

— Комедия какая-то. Ну невозможно это у нас!

— Китайцы тоже так думали. И поляки. И афганцы. Все так думают. Французы у товарища Марше тоже так думают. Чем ты лучше?

И вот тебя вызывают. В ФБР АССР, что означает Федеративное Бюро Разоблачений Американской Советской Социалистической Республики. О'кей? Я буду играть роль следователя, а ты интеллигентного американца, вернувшегося домой из отпуска, но уже узнавшего, что случилось.

— Ну валяй.

— Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.

— Спасибо. (Садится) .

— Вы, конечно, знаете, товарищ Смит, что в нашей стране произошла народная революция...

— Слышал.

— Что значит слышал? Не хотите же вы сказать, что останетесь в стороне от революции?

— Конечно останусь. На черта она мне нужна?

— Стоп, стоп! Ты забыл, куда ты попал. Отсюда два пути: домой или на Аляску. Ты готов сразу ехать на Аляску?

— Нет.

— Ну так думай. Ты войди в образ.

— Паразит ты.

— Продолжим. Так вот, произошла народная революция. Она осуществила чаяния всех прогрессивных людей в Америке. Лучшие умы во всех слоях населения давно готовились к ней. И теперь долг каждого из нас отдать все силы, а иногда и жизнь нашему общему

делу. Готовы ли вы к этому, товарищ Смит?

— Хм... Вообще-то я не очень готов... Я, понимаете, был в отпуске... Все так неожиданно...

— Товарищ Смит, не хотите ли вы сказать, что вы против Советской власти?

— Да я б ее! (Знаю, знаю, дай подумать) ... Нет, в общем я не против, конечно, но...

— Ну вот и хорошо. Ничего особенного я вам и не предложу. Нам просто нужны такие американские патриоты как вы. Ведь у нас еще столько врагов! И многие из них скрылись, ушли в себя. Они против счастья нашего народа. Да вы сами знаете таких! Сегодня они молчат или шепчутся в коридорах, а завтра выйдут против народа с оружием в руках! Можем ли мы с вами, товарищ Смит, допустить это?

— Нет, не можем!

— Ну это ты уж слишком... Что-то ты больно легко согласился...

— Но ведь он же прав. Он дело говорит.

— Как же он прав? Он тебе сейчас предложит, знаешь что? Доносить на своих товарищей, вот что!

— Не может быть!

— Правда? Давай продолжим. Товарищ Смит! Американский империализм еще не умер! Он через своих агентов — через крупнейшие корпорации и банкиров-кровососов, которых мы еще не истребили полностью, старается залезть в души наших людей и повернуть историю вспять! Дадим ли мы ему это сделать в то время, как миллионы американских трудящихся впервые вздохнули свободно, сбросив ярмо капитализма? А, товарищ Смит?

— А пошел ты!

— Товарищ Смит!

— То есть, я хотел сказать, что...

— Вот и славненько. Спасибо, товарищ. Это все. Я знал, что вы с нами. Вам тут на днях позвонит наш товарищ, товарищ Хиггинс, и уже более конкретно с вами потолкует. До свиданья.

— До свиданья.

— Вот видишь, мне понадобилось всего пять минут, чтобы сделать из тебя настоящего коммуниста. Что же ты хочешь от нас, когда мы знакомы с правилами этой игры вот уже шестьдесят лет?

— А ты знаешь, мне было страшно. И голос у тебя был другой. И глаза.

Я сыграл в такую игру (с вариациями) со многими американцами. Никто не выдерживал больше десяти минут. Правда, они ставили себя на наше место. Зато я их спускал с их места. И многие понимали уроки истории лучше, чем раньше. А игру эту мне подсказал действительный случай, который произошел с моим знакомым, известным критиком, литературоведом и юмористом П.

Он написал пародию на писателя Кочетова. На его книжку "Чего же ты хочешь?" Вообще-то это такая профессия у сатириков — писать пародии. Но есть цензурное правило: нельзя писать пародии на секретарей Союза писателей, писателей — членов ЦК партии и на главных редакторов журналов. Над ними смеяться нельзя. Потому что они серьезные люди. Даже если они мракобесы и литературные хулиганы. Тем более, если они до мозга костей преданы. А Кочетов отвечал всем вышеупомянутым меркам. Он был всем. И в каждой своей книжке это демонстрировал. Особенно мозг костей. Он служил ему мозгом.

Пародия П. на книжку Кочетова кончалась так: сын спрашивает у отца, пламенного сталиниста: "Папа, а был 37-й год?" Папа отвечает: "Не был, сынок. Но будет."

За эту пародию, нигде, впрочем, не напечатанную, сатирика П. вызвали в райком. И там состоялся такой примерно разговор. Там тоже разыгрывалась пьеса по раз и навсегда написанному сценарию, но П., в отличие от моего американского друга, знал его с самого своего рождения.

Бюро райкома сидело с грустными лицами. Писатель П. стоял перед длинным зеленым столом, во главе которого сидел секретарь, а по бокам расположились члены бюро.

— Что же это получается, товарищ П.! — строго сказал секретарь. — Отчего это вы считаете, что в нашей жизни может повториться 37-й год?

— Я так не считаю, — осторожно сказал П. — Это, так сказать, литературный прием, чтобы высмеять героя романа...

— Прием? — сказала член бюро, блондинка из отдела кадров комбината. — Что это за слово такое "прием"? Знаем мы эти приемчики. Не маленькие.



— Я не в том смысле, — сказал П. — В пародии все должно быть резче, чем у автора. Пародия заостряет...

— Слушай, — сказал другой член бюро, — давай по-простому. Вот я рабочий, вкалываю, понимаешь, на заводе не за страх, а за совесть. Народ, понимаешь, выразил доверие и выбрали в бюро райкома. Ну какими глазами я погляжу в глаза моих рабочих, когда они меня спросят, а? Что ж я им скажу? Что наши профессора, ученые против моей власти рабочих и крестьян? Ты этого хочешь?

— Да почему ж я, собственно, я ведь тоже член партии...

— "Тоже"... Вот это "тоже"... Тебе ведь народ образование дал. Ты и школу кончил, и университет, и аспирантуру... Ты ведь доктор этих самых наук... Как же ты руку на патрию поднимаешь, а? Для того мы тебя учили, чтобы ты говорил, что у нас снова будет 37-й? Ты где это вычитал, в каких учебниках?

— Минуточку, минуточку! — сказал П. — О чем это вы, товарищ? Это не я говорю, что будет 37-й, а Кочетов своим произведением...

— Ну ты даешь! — сказал рабочий, член бюро. — Сразу в кусты! Причем тут Кочетов? Кочетов таких слов не писал. Кочетов за народ. За таких вот, как мы. И наши товарищи на предприятиях. Это не он написал, это ты написал. Ну скажи сам, можем мы, как коммунисты терпеть в своих рядах человека, который хочет, чтобы снова наступил 37-й? Мало что ли народу тогда полегло? Хочешь, чтобы опять повторилось? Не выйдет!

— Кто еще хочет высказаться? — спросил секретарь.

— А чего тут высказываться, все ясно, — сказал кто-то. — Пускай кладет билет на стол.

— И по месту работы сообщить, пусть подумают, кого пригрели, — сказала блондинка. — Знаем мы их приемчики. Не маленькие.

И критик П. положил свой билет на зеленый стол. И его сняли с работы. Но учитывая его прошлые заслуги, потом дали место. Он из старшего научного сотрудника стал самым младшим.

А потом Кочетов умер, и П. простили.

Хотя он и не умел играть в игры и ломать комедии с теми, без глаз и ушей.

А мои американские друзья стали понимать меня значительно лучше. И все из-за системы Станиславского.

## ТАМАНЬ

Пятнадцать лет назад вышло решение выпустить новый журнал. Назывался он "РТ" – еженедельник радио и телевидения. В нем должны были, в первую очередь, печататься программы радио и телевидения, а также статьи по проблемам массовой информации, стихи и рассказы. Нас собрали в этот журнал из самых разных изданий, и мы горели огнем: очень уж хотелось выпустить что-то такое мощное, красивое, умное и прогрессивное. Вы, вероятно, помните этот журнал: он был очень похож на журнал "Америка" – те же роскошные фотрографии, мастерски сделанная обложка, разнообразные шрифты. Все было замечательно. Не учли только одно: журнал выпускался способом цветной офсетной печати, это довольно долгий технологический процесс, вступающий в противоречие с советской действительностью. Почему? А потому что он никак не поспевал за программами Центрального телевидения. Как только составлялась программа, мы засылали ее в типографию, а к моменту выпуска нашего журнала все программы переигрывались по цензурным и другим соображениям, и эти поправки уже нельзя было внести: все уже было отпечатано! Так что самым слабым нашим местом была точность. И те, кто следил за программами телевидения по нашему "РТ", могли только чертыхаться и звонить в редакцию.

Но к этому мы уже привыкли и занимались больше тем, что придумывали всякие журналистские "приемы", которые нельзя было испробовать в другом месте. Нам в этом не очень мешали, потому что наш редактор был совершенно невообразимый человек. Ради него я, собственно, и взялся за перо.

Его звали Борис Михайлович Войтехов. Вообще-то на место главного прочили совершенно другого человека. Но однажды Месяцев, председатель Радиокomiteта, привел к нам небольшого изящного человека, с совершенно европейским лицом, одетого с необычайной элегантностью, в прекрасном английском сером костюме и отлично повязанном галстукe.

– Это ваш главный редактор, – сказал Месяцев. – Он бывший комсомольский работник. Человек трудной, но интересной судьбы. Вопросы есть?

Мы разглядывали друг друга. Потом Войтехов сказал:

— А у меня, значить, вопросов пока нет.

Это "значить" было немного обескураживающим, но кто знает, оговорился человек, неважно, проехали.

На следующее утро он собрал нас и сказал:

— ВКП (б) поставил меня, значить, руководить данным учреждением. Я человек очень, значить, занятой и буду читать этот журнал как все — в киоске. Вот так, значить, и сделаем.

Мы обалдели. Мало того, что он называет КПСС ВКП (б) — кому это придет в голову в наши-то дни, но он какой-то немыслимый демократ! Читать свой журнал в киоске, то есть не читая материалов хотя бы в гранках — такого при советской власти не было! Я исполнял тогда обязанности ответственного секретаря и на мне, собственно, все и лежало, потому что до того времени выше меня никого не было по должности. И вот прислали редактора, а он и читать не хочет! Стало быть, все решения лежат на нас самих! С нашими-то мыслями и убеждениями!

Про Войтехова ходили слухи, что он сидел три раза. Ну сидел, ну два, но три! Про него говорили, что, будучи до войны заведующим отделом ЦК ВЛКСМ по агитации и пропаганде, он лично руководил сносом храма Христа Спасителя в Москве. Говорили, что он написал с Леонидом Ленчем пьесу "Павел Греков", которая была поистине сенсационной в 1939 году. Это была пьеса — попробуйте вообразить! — об оклеветанных людях в эпоху великой чистки 30-х годов! Говорят, пьеса кончалась так: на сцене сидел партком, а зрители в зале были как бы партсобранием. И когда секретарь парткома, разбиравший дело невинного Павла Грекова, спрашивал прямо в зал: "Кто за то, чтобы оставить в партии товарища Грекова?", все зрители, как один, тянули руку, и у многих были на глазах слезы, потому что каждый ставил себя на место Грекова и знал, что с ним будет, если его исключат. Это сейчас, задним умом можно понять, что такая смелая пьеса появилась по прямому указанию Сталина, потому что надо было оправдать себя и взвалить всю вину на Ежова и Ягоду, но тогда-то все думали, что все позади и что Сталин разобрался, наконец, кто его настоящие враги, и восстановил справедливость!

Я как-то спросил Ленча о Войтехове, и Ленч сказал:

— Илья, прошу вас никогда, ни при каких обстоятельствах



не вспоминайте при мне об этом человеке! Я не могу о нем слышать!

Какой-то очевидец клялся, что он знает, что Войтехов сидел за то, что поставлял девочек сыну Сталина Василию. Другой утверждал, что первый раз Войтехова посадили за то, что он издал в Англии какую-то книгу во время войны. А за что он сидел в первый раз никто и не знал: кто ж тогда не сидел? Тем более он работал в комсомоле и сносил храмы. Так что история его посадок, а тем более назначений была довольно темной.

Мы выпустили первый номер и пили в честь этого события в редакции после работы. Открылась дверь и вошел главный с журналом под мышкой.

— Ну-те-с, значить, — сказал он, — давайте посмотрим...

Мы сгрудились вокруг него, а он стал листать журнал.

— А это что? — он ткнул пальцем в какую-то фотографию.

— Это пейзаж, — сказал кто-то. — Красивый, правда?

— Мне не нравится, — сказал главный, — Этот пейзаж, значить, надо снять.

— Как снять? — ахнул я. — Тираж-то весь отпечатан!

— Это меня не касается, — строго сказал Войтехов. — Я, значить, говорю снять, стало быть, снять.

— А как? — спросил я.

— Уничтожьте эту картинку, значить, — сказал элегантный Войтехов и ушел.

— А он не псих? — спросил кто-то.

— Не знаю, — сказал я. — Что-то надо сделать...

И мы вырвали страницу с этой злополучной картинкой из всего стотысячного тиража! К счастью, большая часть его еще оставалась ночью в типографии. А остальные мы разыскивали в киосках. Так он и пришел к читателям — с вырванной страницей.

Мы понимали, что так продолжаться не может. Этот человек всех нас погубит. Знали мы таких демократов, читающих журналы в киосках и потом принимающих дикие решения! Я стал подсовывать ему рукописи. Он возвращал их непрочитанными: на них не было ни одной его пометки.

— А может, он просто не умеет читать? — строил догадки кто-то.

Мы настаивали, чтобы он знакомился с материалом до печати.



Он упирался. Наконец, он взял литсотрудника Колю, заперся с ним в кабинете и через три часа вернул мне рукопись, которую я ему послал. На ней были пометки, сделанные рукой Коли.

— Коля, — сказал я ему. — Почему это ты правишь рукописи? Это моя и его прерогатива. А ты при чем?

— Илья Петрович! — взмолился Коля. — При чем тут я? Он сказал, что забыл дома очки и чтобы я ему почитал вслух статью. По ходу он делал замечания, я и вносил.

И Коля остался на этой работе до конца журнала: редактор всегда забывал очки. Когда он понял, что мы что-то поняли, он решил применить такой метод: он собирал всех нас в своем кабинете, и Коля вслух читал рукописи. После каждой точки Войтехов его останавливал и спрашивал:

— Все согласны с этим, значить, предложением?

Мы умирали. Это даже не было смешно. Он был неграмотным! Он не читал газет, книг и журналов. Он понятия не имел, что происходит в жизни! Он не знал, что ВКП (б) давно переименовали в КПСС! Он был элегантным чудовищем. За него все всегда делали другие: писали пьесы, докладные и книги, а он выколачивал себе все, что надо через своих бывших дружков по ЦК ВЛКСМ — Месяцева, Михайлова, Шелепина, Семичастного... И у него были идеи.

Он вызвал меня и сказал:

— Вчерась, я, значить, ехал по своим делам мимо Останкина. Прекрасный парк. Там я вырос. Родина. И вот я, значить, вижу, что там строят башню. Уродство. Вся красота насмарку. Надо эту башню снести.

— О чем вы, Борис Михайлович? — мучимый тяжелыми предчувствиями, спросил я. — Уж не о телевизионной ли башне идет речь?

— Не знаю. Здоровенная чугунная башня. Может быть и телевизионная.

— Борис Михайлович! — взмолился я. — Мы же с вами работаем в Комитете по радио и телевидению! Это же наша башня! Это будет самая высокая телебашня в мире! На нее работает вся страна. На нее работает Франция. Финляндия. Кто же нам это позволит, вот так взять и снести?

— Петр Ильич! — сказал Войтехов. — Чем она длиннее, эта башня, тем больше удовольствия ее снести!

Он был похож на Наполеона, я даже немного загордился им,

ей-богу.

Он никак не мог запомнить ни одного нашего имени. Он говорил:

— Пусть зайдет тот, с рыжей бородой, который сидит в комнате той блондинки. Позовите этого, похожего на армянина, но с русской фамилией. Где та, у которой чулки?

Меня он звал Петр Ильич. Когда я сказал, что меня зовут Илья Петрович, это Чайковского звали Петр Ильич, он удивился:

— Правда, его так звали?

Но перестроиться или запомнить он не мог.

Я вызвал Сашу, журналиста, озабоченного разрушением природы, и заказал ему статью о сносе останкинской телебашни.

— Я люблю Войтехова, — сказал Саша. — Никто никогда не посмел бы даже подумать о таком! Он невежественен, а потому гениален!

Когда статья была написана, я отдал ее Войтехову, и он уехал с ней в ЦК.

Больше мы никогда не возвращались к этой теме.

Он весь день пропадал в ЦК. Иногда он звонил в редакцию и говорил, явно рассчитывая, что его кто-то слушает там, откуда он звонил:

— Звоню из ВКП (б). Все идет по плану? Прекрасно. Продолжайте.

Однажды критик Г.К. сказал мне, что Солженицын хочет отдать нам главу из "Ракового корпуса", набранного в "Новом мире".

— Твардовский сказал Александру Исаевичу, чтобы он попытался что-нибудь напечатать в другом журнале. Так ему легче будет бороться за публикацию романа. Он планирует выпустить его в последних номерах года. Глава будет совершенно безобидная. Нужна только сноска: "Полностью роман будет напечатан в одиннадцатом номере "Нового мира". Попробуешь?

Я пошел к Войтехову.

— Борис Михайлович, — сказал я. — Солженицын хочет отдать нам главу из своего романа.

— Кто такой? — спросил Войтехов.

Я присмотрелся. Нет, не играет. Не знает.

— Солженицын, — сказал я — самый знаменитый русский писатель. Кстати, его выдвинули кандидатом на Ленинскую премию.

— А принесет ли его рассказ славу нашему журналу? — пытли-  
во спросил Войтехов.

Я сказал, что журнал будут рвать из рук. И что если он побо-  
рется в ВКП (б), то после публикации Солженицына можно будет  
сразу войти в историю.

— Ну что же вы ждете? — сказал с загоревшимися глазами  
Войтехов, — посылайте его в набор!

— Читать будете?

— Нет, зачем же, вы дали этому, как его, значить... хорошую  
аттестацию.

Я заслал главу Солженицына в набор. Через два часа мне позво-  
нила цензор и попросила приехать в издательство "Правда" (там мы  
печатались).

Цензор Главлита была мне давно знакома, она читала несколь-  
ко изданий "Правды", в том числе журнал "Юность", где я до это-  
го работал.

— Илья Петрович! — сказала она мне. — Да что вы, голубчик.  
Какой Солженицын? Нельзя Солженицына.

— Почему? — удивленно вскричал я (с цензором всегда надо  
удивленно вскрикивать, тогда у них появляется желание объяснить.  
Некоторые из них — вполне приличные люди, которые испытыва-  
ют неловкость от того, что вынуждены "снимать" то или иное имя,  
значащееся в цензурном списке. Когда-то я подсунул в "Литератур-  
ке" чудные стихи Эммы Коржавина, но мне их вернули, и цензор  
виновато показал мне имя Коржавина в цензурном списке: мол, я  
ничего против него лично не имею, но ведь он "подписант" — по-  
ставил свое имя под письмом в защиту кого-то, кого власть ре-  
шила посадить).

— Почему? — удивленно вскричал я.

— Но он же в списке, вы же знаете, — укоризненно сказала  
цензор.

— Откуда ж мне знать? Может быть, позвоните "наверх", а?  
Журнал маленький, дело-то какое благородное...

— И глава очень хорошая, — вздохнула цензор. — А что, Войте-  
хов читал?

— Так это ж его идея! — сказал я. — Он мне прямо так и ска-  
зал: "Глава эта принесет славу нашему журналу!"

— Вот пусть он и позвонит. — сказала цензор, — Если у него по-

лучится, я сразу же узнаю и поставлю штамп. А без этого, уж не обессудьте... Такая хорошая глава...

Я помчался в редакцию.

— Что же это получается? — крикнул я Войтехову. — Какой-то там чиновник из Главлита, сидящий в издательстве, не желает выполнять ваше указание о печати Солженицына! Это надо же докапаться! На кого они руку поднимают! Борис Михайлович, я бы не стерпел!

— Я еду в ВКП (б) — угрожающе сказал Войтехов. — Они забыли, с кем имеют дело! Напишите мне на бумажке фамилию этого... чей рассказ... С моими связями...

Я написал ему на бумажке "С-О-Л-Ж-Е-Н-И-Ц-Ы-Н", и он ука-тил в свое ВКП (б).

Мы ждали развязки.

— Черт его знает! — сказал критик Г.К., притащивший рукопись Солженицына, — А вдруг пробьет!

— Как бы я хотел присутствовать при этом разговоре! — ска-зал я. — Это же сюрреализм! Один борется за человека, которого он никогда не читал и никогда о нем не слышал. Второй старается по-нять, откуда у его собеседника такая чудовищная смелость, не сто-ит ли за этим что-то, чего он не знает. И все матом, матом!

Через три часа приехал бледный Войтехов.

— Зайдите ко мне, Петр Ильич!

Он плотно закрыл дверь и сказал:

— У этого вашего, значить, писателя какие-то проступки перед партией. Они на меня смотрели, как на сумасшедшего. Но я им показал, кто сумасшедший!

Я замер.

— Я им сказал, что это я их проверяю. Не погасла ли у них, зна-чить, бдительность. А что он сделал, этот ваш Со-сол-солже-нцын?

Однажды он пришел в редакцию радостный и возбужденный.

— Вчерась, значить, мне одна дама, очень приятная, надо ска-зать, читала произведение "Тамань". Замечательная вещь! Все как живое перед глазами.

— Какую "Тамань"? — спросили мы. — Лермонтова?

— Возможно. Я бы хотел, чтобы это было напечатано у нас.

— Борис Михайлович! — взмолились мы. — Эта повесть напе-чатана во всех учебниках по литературе, во всех собраниях сочи-



нений Лермонтова. Зачем ее перепечатывать?

— Ну что вы за люди! — сказал Войтехов. — В кои-то годы мне понравилось произведение. Я, значить, говорю печатать, стало быть, печатать.

И мы напечатали в журнале "РТ" повесть Лермонтова "Тамань".

А потом нас закрыли. Не за "Тамань", конечно.

Мы никак не могли научиться печатать правильные программы телевидения. По нашему журналу можно было увидеть как работает телевизионная цензурная мельница, в пух и прах перемалывающая все подготовленное к показу. И журнал "РТ" испустил дух примерно через полтора года после своего рождения. Ему на смену пришел скромный черно-белый листок "Программы Центрального телевидения". Без Войтехова и без нас. Он был серый, как советское радио и телевидение. И его редакторам и в голову не пришло бы побежать в ВКП (б), чтобы просить за Солженицына. Хотя они его тоже не читали.

## ТАКОЕ ВОТ КИНО

Однажды мне в журнал "РТ" принесли маленький рассказ Юрия Олеши, не вошедший ни в одну из его книг. Рассказ назывался "Ангел" и был напечатан один единственный раз в одесской газете в 1926 году. Он был маленький — всего две странички — да удаленький. Я перескажу его своими словами, потому что оригинала у меня под рукой нет: все осталось там.

Рассказ "Ангел" Юрия Карловича Олеши был такой:

Знойное жухлое лето. 1920 год. По выжженной степи тянется поезд. Он идет так медленно, что, кажется, и не идет вовсе. Вагоны забиты мешочниками. Везут соль в мешках: идет гражданская война. Украина. Над автором, сидящим на нижней полке, навис огромный бабий зад. Душно. Автор выходит из вагона и идет рядом с поездом. Внезапно поезд останавливается: рельсы разобраны. Поезд окружен бандой атамана "Ангела". Его люди вытаскивают из поезда

евреев и расстреливают тут же на полотне. Идет атаман "Ангел", окруженный своими. Он обходит пассажиров и останавливается около одного из них, в кожанке.

Это комиссар. "Ангел" улыбается. Он одет в длинную, до колен, белую рубаху. Он молод и красив. Он и вправду похож на ангела.

— Ты Парфенов? — спрашивает он у человека в кожанке.

— Я Парфенов.

— Это ты мово брата Петруху в Малинниках сжег?

— Я твою брата Петруху в Малинниках сжег.

— Ну пойдём...

Они идут через поле к селу. "Ангел" вводит комиссара в кузницу. Подручные кладут его голову на наковальню. "Ангел" берет молот и бьет им Парфенова по голове, говоря:

— Вот тебе серп и молот!

Вот такой рассказ. Конечно, он был очень хорошо написан, не таким телеграфным, сценарным стилем, в каком я его воспроизвел. Он был примерно вдвое больше, в нем были особые, "олешевские" краски, и он мне очень понравился. Настолько, что я решил сделать из него кинофильм. Вот почему я его и записал выше сухим "сценарным" языком.

Я пришел в сценарный отдел только что созданной Экспериментальной студии Мосфильма и предложил заявку на фильм к приближающемуся 50-летию Советской власти. Я предложил сделать сборник киноновелл под названием "Начало неведомого века", куда войдут инсценировки рассказов Зощенко, Платонова, Бабея, Олеси и Паустовского. Кто же лучше настоящих писателей расскажет о том, как все началось?

И со мной согласились. Правда, тут же похерили Зощенко и Бабея, зато оставили остальных трех. И на том спасибо.

Идея была такая: дать возможность проявить себя молодым сценаристам и режиссерам. Да и идея весьма благородная. И художественная. Режиссерами были: у Олеси — Андрей Смирнов (сын писателя С.С. Смирнова. Потом он снял хороший фильм "Белорусский вокзал"), у Платонова — Лариса Шепитько, (погибшая впоследствии в автомобильной катастрофе), у Паустовского — Генрих Габай (он теперь живет в Нью-Йорке).

И мы с режиссером Мосфильма Борисом Ермолаевым и моим братом Михаилом Сусловым засели за сценарий киноновеллы по рассказу Юрия Олеши "Ангел". Мы расширили состав действующих лиц, ввели туда интеллигента, похожего на Пастернака, чьими глазами и будет видеться кровавое и жестокое время гражданской войны, спекулянта, который во весь рот вставил себе золотые коронки (трудно украсть золото прямо с зубов), дезертира и т. п. Мы работали весело и напряженно. Наш сценарий купили и началась съемка...

Меня взяли на зарплату в киногоруппу в качестве сценариста, и мы выехали в город Выборг, который был выбран местом для съемок природы...

Актеры у нас были замечательные: Губенко, Бурков, Кулагин... Андрюша Смирнов, одетый почему-то в военно-полевую форму, вел себя как и подобает командарму: он уверенно командовал, обходил свои войска, кричал что-то в мегафон... А командовать было чем.

Представьте себе тот самый поезд, забитый людьми, одетыми по модам гражданской войны. На крыше одного из вагонов расположился цыганский табор (одна из наших придумок). Чтобы показать, как медленно движется этот поезд, к последнему вагону привязана корова, которая идет за ним по шпалам. Дров нет, поэтому в топку паровоза бросают мебель из барских имений: гнутые резные ножки диванов и столов, изящные французские столики...

У меня было свое особое кресло, на котором было написано: "писатель". Оно стояло рядом с креслом, на котором было написано: "режиссер".

Андрей Смирнов уважительно представил меня коллективу:

— Это, товарищи, наш уважаемый сценарист, которому мы все обязаны появлением нашего замечательного сценария!

Когда все захлопали, он снова усадил меня в мое кресло и прошептал мне на ухо:

— И чтоб я тебя здесь не слышал, понятно?

— Понятно, — сказал я, — ух ты, наш Рокоссовский!

Но таковы уж правила игры в кино: режиссер — это бог, царь и герой. Завидно, конечно.

— Дубль номер один! — крикнул кто-то, и поезд стал двигаться. И вдруг, под самым моим носом, он сошел с рельс!



— Батюшки! — сказал я. — Что ж теперь будет?

— Но это ж ты придумал, чтобы поезд сходил с рельс? — ехидно спросил Смирнов. — Распоясываетесь за письменным столом, а нам здесь расхлебывать!

Я виновато молчал.

— Ничего, — великодушно сказал Смирнов, — это все предусмотрено. Он еще два раза будет сходить с рельс. Видишь, сзади второй паровоз. Он его живо втянет обратно. А пока что мне нужно, чтобы в тот момент, когда идет крушение, цыгане попадали с крыши.

— Ты очумел, — сказал я — это же высоко. Они ж побьются.

— А кто тебя просил их придумывать? — огрызнулся Смирнов.

Он взял рупор и крикнул:

— Товарищи цыгане! Тот, кто первый прыгнет с крыши вагона, когда поезд сойдет с рельс, получит десять рублей! Повторяю: получит десять рублей!

Поезд второй раз сошел с рельс и цыгане посыпались с крыши, как груши. Они обступили режиссера и кричали:

— Давай десять рублей! Десять рублей давай!

Смирнов посмотрел на них с умилением и сказал:

— Выберите, товарищи цыгане, того, кто первый прыгнул с крыши. Я не видел, кто первый прыгнул.

И, обернувшись ко мне, сказал:

— С народом надо уметь работать. Это тебе не сценарии писать.

Потом мы смотрели первый отснятый материал. Смирнов снял начало так: в переполненном вагоне камера медленно идет по лицам женщин, стариков, детей, поднимается с полки на полку и останавливается на третьей полке, где дезертир любит бабу. Я всегда называл этот акт "дружить". "Ты не хочешь дружить со мной!" — обиженно говорил я девочкам, отказывавшим мне в ласках. Так вот дезертир дружил с бабой-мешочницей вот уже три минуты. В советском кино такой сцены еще не было.

— Андрюша! — охрипшим голосом сказал я, — ты не опупел отчасти? Кто же тебе это пропустит? Где ты живешь?

— Плевать! — сказал Андрей. — Я художник и так вижу эту сцену. И вообще пора ломать рамки мещанского пуританского искусства!



— Андрюша, — сказал я. — Я боюсь. Я хочу увидеть этот фильм на экране. Давай сломаем рамки в следующем фильме, а?

— Нет! — сказал Смирнов.

— Тогда я напишу на тебя жалобу, — сказал я. — Я не могу позволить, чтобы по прихоти режиссера и из-за его сексуальной озабоченности провалилась первая попытка правдиво изобразить события гражданской войны.

— Дурак ты! — обиженно сказал Смирнов.

Мы пошли к телефону и позвонили в Москву нашим друзьям-редакторам, Гуревичу и Огневу. Владимир Огнев, известный и порядочный критик, был в то время главным редактором Экспериментальной студии.

— Приезжайте, голубчики! — сказал я. — А то плохо будет. Андрюша не хочет лакировать действительность. А нелакированная она уж очень сексуальная. Он тут всех передружит...

— И очень глупо! — сказал Смирнов. — И почему это все революционеры на деле оказываются такими конформистами?

— А потому что им есть чем рисковать, — сказал я. — Мы, например, рискуем фильмом. И очень хорошим. Потому что все остальное ты снимаешь очень правдиво и здорово.

Приехал Огнев. Он посмотрел материал, отвел меня в сторону и сказал:

— Понимаете, Илья, он и вправду художник. Ну имеем ли мы, чиновники, право мешать художнику? Пусть работает.

— Но ведь не разрешат этого.

— Правильно. Но не мы. Мы будем чистыми. Это замечательное чувство: оставаться чистым.

И получился фильм "Начало неведомого века". Он был о трагедии народа и интеллигенции, вовлеченных в бессмысленную и кровавую бойню. Лариса Шапотько сняла "Родину электричества" по Платонову. Сняла удивительно, с особой пластикой, с платоновскими крестьянами, гибкими, как проза Платонова. Габай снял лихой одесский фарс по мотивам Паустовского. О фильме писали в "Правде". У нас брали интервью. Мы все ходили именинниками.

А потом был приемный худсовет. И на нем встал печальный Константин Симонов, который сказал:

— Я не мог без слез смотреть эту картину. Какие жесткие и точные краски! Какая пронзительная боль! Какие талантливые ре-

жиссеры и актеры! Но...

Тут Константин Симонов раскурил трубку и, слегка грассируя, сказал:

— Но как коммунист я не могу себе представить этот фильм на наших экранах. Ведь если то, что показано в этом фильме, правда, то тогда нам не нужно было делать эту революцию! А с этим, как коммунист, я никак не могу согласиться. Вот почему, полагаю, мы должны прийти к пятидесятилетию нашей родной Советской власти с другими подарками.

И фильм "Начало неведомого века" уничтожили.

И ничего не осталось. Только воспоминания.

## **ПРОЩАНИЕ С ГРУЗИЕЙ**

Говорят, что в Грузии теперь живут иначе. Что не увидеть теперь на московском Центральном рынке усатых красавцев в огромных кепках, гостеприимно распахнувших свои фанерные чемоданы, полные цветов, мандаринов и запахов. Что прошли времена, когда в каком-нибудь ресторанчике в Тбилиси, раскрашенном на манер картин Пиросмани, забредший клиент вдруг получал в подарок бутылку коньяка с соседнего столика, просто так, за здорово живешь. Что не услышишь теперь в поезде дальнего следования смешную фразу "Экспресс Тбилиси — Советский Союз отправляется через пять минут"...

Говорят, Грузия тоже стала социалистической. Прощай, исконное грузинское гостеприимство, прощайте сердцееды с матовыми глазами и тугими кошельками, так любезно раскрывающимися перед каждым встречным-поперечным, прощай, рекой льющийся коньяк! Грузия разделила судьбу других республик, входящих в состав великой империи.

Началось это будто бы с того, что слетел с работы старый заслуженный взяточник Мжаванадзе, и на его место сел молодой энтузиаст, чекист и комсомольский вожак Шеварднадзе. Шеварднадзе собрал полный состав ЦК Грузии и рассказал о взяточничестве

и коррупции. Он рассказал о цветочках, продающихся в Сыктывкаре грузинскими мастерами цветоводства, о фанерных чемоданах, набитых сторублевками, о купленных за деньги местах в университетах и должностях, за которые заплачено наличными. Он потребовал чистых, как стекло, взаимоотношений между людьми во вверенной ему республике и попросил за это проголосовать. Весь ЦК поднял руки. Все были за. Тогда Шеварднадзе сказал: "Я хотел бы, уважаемые члены ЦК, чтобы все проголосовали левой рукой, если вам не трудно, конечно". Изумленные члены ЦК послушно подняли левые руки в знак одобрения новой политики руководства, и коварный Шеварднадзе спросил: "А откуда у уважаемых членов ЦК японские часы "Сейко", так красиво облегаящие левую кисть присутствующих товарищей? Насколько я могу судить, часы "Сейко" не продаются в советских магазинах. Не дошла ли коррупция и взяточничество до святой святых нашей славной республики, ЦК нашей родной коммунистической партии?"

И Грузия сразу стала социалистической. Здесь мне хочется поговорить о взятках. О спекуляции. О коррупции вообще. О черном рынке в частности. При социализме, разумеется. Хотя и при капитализме эти грубые отрицательные явления тоже имеют место. Вот что я про это думаю: это не отрицательные явления, а, наоборот, положительные. Они смягчают казарменность режима. Они дают возможность некоторым людям получить то, что при других условиях им никогда бы не получить. Например, цветы зимой. Или мандарин на стол ребенку. Или место в институте. Или новую квартиру. Или хорошую работу. Сколько стоит та или иная вещь? А столько, сколько вы за нее хотите заплатить. Черный рынок — это истинная цена товара. При капитализме это называется просто рынок. А при социализме он — черный. Потому что там нет обычного. Правда, там есть рынки. И если вы там платите за кило картошки пять рублей, то именно столько картошка и стоит. Когда мы говорим: "Вчера купил у спекулянта кило картошки за пять рублей", то это значит, вы купили кило настоящей картошки, которую в другом месте вы купить не можете. Потому что другое место — это уже государство, продающее вам мусор по установленным им ценам. Потому что если нет рынка, или, как нам вбили в голову, спекулянта, то в дело вступает государство, которое ничего вам предложить не может, кроме очередей. Конечно, можно поострить на тему очере-



дей. Скажем, так: "Очередь станет меньше, если сплотить ряды". Или так: "Пулеметная очередь доходит до прилавка гораздо быстрее обыкновенной". Или так: "Очереди в России кончатся, когда кончится очередь у мавзолея Ленина". Один мой приятель придумал целую серию афоризмов про очереди. Но, согласитесь, это все очень горькие шутки. Очереди от этого не исчезнут. Поэтому взятка, спекуляция, кумовство и семейственность — регуляторы экономической жизни. Они, быть может, единственные проявления человечности в бесчеловечной системе, которую мы с вами покинули. Вот почему мне искренне жаль Грузию, последний оплот всех тех неположительных явлений, о которых я рассказал выше.

А мне вспоминается Грузия "дошеварднадского" периода. Ночь. Черный, как смола, и длинный, как труба, автомобиль "ЗИМ" везет нас в гостиницу. За рулем — известный поэт П. Он возил нас по окрестностям Тбилиси. Поэтому мы веселые, но довольные. Я пою песню. В руке у меня бутылка коньяка. Мелькает большой плакат, сделанный от руки: "Сорвешь хурму — попадешь в тюрьму!" Сладкий грузинский ветер залетает в наше окно. П. оставляет машину у подъезда гостиницы и помогает нам добраться до номера. Мы валяемся на кровати и пьем наш коньяк. П. объясняет, что завтра предстоит поездка в передовой колхоз, где председателем его родной дядя, и что там "все уже готово к приему высоких уважаемых гостей нашей замечательной республики". Потом он уходит. Через пять минут он появляется и говорит, что его "ЗИМ" угнали.

Мгновенно протрезвев, мы вскакиваем с кроватей. Как? Что? Как это произошло? Что делать? Мы знаем, что такое машина в Советском Союзе. Мы примерно представляем себе, сколько П. выложил за свой длинный правительственный "ЗИМ". Мы понимаем, что означает машина для грузина. И великодушный П., видя нашу растерянность и замешательство, говорит нам: "А, забудьте это, друзья! Другой купим!"

Где еще вы смогли бы услышать такую фразу, живя в Советском Союзе? Кто еще, кроме грузина, проявил бы такую выдержку, такое самообладание, позволил бы такую шутку? А может, он и не шутил. Потому что это было время, когда Грузия еще не была социалистической. До конца. И я вас спрашиваю: мог бы поэт П. купить себе новый "ЗИМ", не будь в той стране коррупции, взяточничества и черного рынка? И сам же отвечаю: нет, не мог бы. А чем он,



поэт П., хуже нас с вами, дорогой читатель из Нью-Йорка и Бостона, из Сан-Франциско и Кливленда? Тем, что он живет при уродской системе, где человеку недоступны самые простые, обычные радости? Да здравствует взятка, которая поможет ему жить по-человечески!

Надеюсь, что и сейчас он катает на своей машине друзей и показывает им красоту своей страны.

Мой школьный друг Рафик кончил в Москве экономический институт. И его распределили в Тбилиси. Я встретил его как-то на улице и спросил, чем он занимается. Он сказал, что он скромный труженик городского торга. В отделе обуви.

— Какая у тебя зарплата?

— Зарплата?

— Ну что тебе платят в месяц?

— Ах, это? Шестьдесят девять.

— Как же ты живешь?

Он посмотрел на меня, как на больного, и сказал:

— Кто живет на зарплату? Ты смог бы жить на такую зарплату?

— Я нет.

— И я нет.

— Ну?

— Ладно, тебе я скажу. Я прихожу на работу в девять утра. В девять часов десять минут я раскрываю верхний ящик моего стола и впускаю первого посетителя. Он кладет в ящик конверт и уходит. Потом второй, потом третий. Пятнадцатый. Когда все проходят, я закрываю ящик и иду на завтрак. У нас хинкальная напротив. Знаешь, как он делает хинкали? Пальчики оближешь!..

— Подожди, подожди! Кто эти твои посетители?

— Как кто? Директора обувных магазинов.

— Какие конверты?

— Не будь ребенком!

— Каждый день?

— Ты кушать хочешь? Так и все.

— И это все тебе?

— Ты с ума сошел! Это всем. Себе я оставляю самый последний конвертик.

— И там много?

— Хватает.

— А остальные?

- А остальные — вверх, по начальству. До самого потолка.
- И это во всех отделах?
- Во всех.
- Так вы же богатые люди!
- Не жалуемся.
- Так ведь и посадить могут!
- Кто?
- Как кто? Те, кому не дали.
- В нашей системе, — строго сказал Рафик, — в нашей системе таких нет! Так вот насчет хинкали...

Наверное, все кончилось в Грузии. И теперь уйдут краски, изменятся люди, исчезнут особые, чисто грузинские взаимоотношения.

Прощай, Грузия! Ты будешь, как все. Ты влита в общую социалистическую лужу. Притупится твой предпринимательский дух, зачахнут блеклые побеги частной инициативы. Ты встанешь в очередь. Оскудеешь. Мне жаль тебя, Грузия. Спасибо товарищу Эдику Шеварднадзе!

Прощай, прощай...

## **БОЛГАРСКИЙ ЭТЮД**

“Курица — не птица, Болгария — не заграница”. Глупая пословица. Очень даже заграница. Особенно для тех, кто ничего другого не видел. В 1969 году меня назначили членом жюри международного фестиваля сатиры и юмора в болгарском городе Габрово. Этот город усилиями нескольких местных энтузиастов решил оставить свое имя на карте Европы. Там издали несколько книг о габровцах, прижимистых и скупых мужичках, которые этими своими качествами должны были затмить славу шотландских скупердяев, о которых тоже ходили легенды. Скажу прямо, это была очень симпатичная затея, потому что умение смеяться над собой отличает нормальный народ от ненормального.

Болгарское правительство пошло навстречу габровцам, отвало средства и разрешило устроить в Габрово ежегодный фести-

валь, в котором принимают участие карикатуристы, пародисты, писатели — сатирики и юмористы и люди смежных профессий. Все это сопровождается карнавалом масок и парадом, а члены жюри стоят на трибуне, как вожди, и приветствуют массы любителей смешного, шагающие мимо. Потом жюри раздает награды победителям, напивается на прощальном банкете, бежит в магазин, чтобы купить дубленку или красивое южноамериканское одеяло или плед, заворачивает во все это прелестную болгарскую керамику и отбывает в свои социалистические страны, где всего этого достать невозможно.

Болгария — красивая страна. Как оказалось впоследствии, все страны красивы. Мир красив, черт возьми, даже если это мир социализма.

Я прилетел в Софию, на аэродроме меня поджидал сотрудник министерства культуры с машиной, и меня, как особу, приближенную к императору, поселили в отеле "София" в самом центре города. Это была фешенебельная гостиница, построенная шведами или французами для важных шишек, — для членов жюри из Советского Союза и капиталистических выродков, желающих торговать с Болгарией. До этого я редко останавливался в отелях (нельзя же называть отелями те клоповники на два-три-четыре человека в Воронеже, скажем, или Ярославле, рассчитанные на командировочных по два шестьдесят в сутки, день приезда-день отъезда — один день). В отеле "София" были и мальчики, несущие твой чемодан, и ванна, размером в комнату, и золотые смесители, и кресла, и картины, и вид на город. Я спустился вниз и спросил молодого администратора в фирменном фраке, ловко говорившего на всех языках мира:

— Ну и сколько стоит номер, в котором меня поселили?

— Шестьдесят долларов, товарищ, — ответил он. — В день.

— Мама родная, — сказал я. — Где ж я возьму столько? Я ведь только притворяюсь, что я шишка, а на самом деле я, понимаешь ли, простой советский человек. Шестьдесят долларов даже по официальному курсу — это моя двухмесячная зарплата. Где тут у вас тюрьма для тех, кому нечем платить?

Он улыбнулся и широким жестом показал в окно.

— Вот наша тюрьма, товарищ.

Напротив стояло красивое здание в глубине ухоженного пар-

ка.

— Но вы не беспокойтесь, — сказал он. — За вас уже все заплачено.

Потом я узнал, что было в здании напротив: там помещалось Народное собрание, разновидность нашего Верховного Совета.

“Вот это номер, — подумал я. — Что этот молодчик наплел мне? И откуда такая смелость? Это он после чехов так раздухарился.”

Все предыдущее я рассказал, чтобы вы поняли, как я тогда попал в Болгарию. А сама история, ради чего я взялся за перо, была такая.

После всех фестивальных торжеств, после парадов и поездок по стране, после немыслимого обжорства и пьянства нас позвали в Габровский обком партии и предложили денек отдохнуть, половить рыбки и понежиться на лоне природы. Кто за? Все за.

И нас отвезли в правительственный заповедник, где ловят рыбку и отдыхают болгарские вожди и вожденки. Нас посадили на катера, и мы поплыли по чистойшей изумрудной реке мимо желто-зеленых, умытых дождями лесов к какой-то заводи, где нас уже ждали одетые в охотничьи костюмы люди. Нам выдали по бутылке и пожелали всех благ. После ужения, сказал тот, что нас вез, откушаем уха из выловленной вами рыбки. Ну не благодать ли? Со мной остался удить здоровенный дядька с квадратным лицом. Он прямо-таки предвкушал удовольствие. У него было две удочки — одна для меня, другая для себя. И он все знал про эти места. Он был прокурор этого района. Удочки были японские, к удилицам был пришпилен спиннинг. Он с таким любованием смотрел на эти рыболовные чудеса, что я прямо загордился им. Вот прирожденный рыбац, а ему надо быть прокурором! И чем у него больше успехов в посадках болгарских политических, тем больше у него возможностей орудовать своим спиннингом в тихих водах партийного заповедника! Жалко его, хороший, наверное, парень, а надо же...

Я не могу сказать, что не удил до этого рыбу. Удил, конечно. Но это было однажды в Останкино, где какой-то мальчик дал мне подержать свою удочку, а второй раз — на Клязьме, где я, клянусь здоровьем, поймал вот такую щуку! Ну не такую, чуть поменьше, но поймал! Ну, ладно, не щука, но это была рыба, с хвостом и плавниками, и со всем, что полагается. Не верите, не надо...



Прокурор, не сводя глаз со своего японского, а потому драгоценного спиннинга, показал мне, как им пользоваться, как недо размахнуться, бросить (пардон, закинуть), как надо следить за поплавком и тянуть, когда клюнет.

— Товарищ, — сказал я, — это для нас раз плюнуть! Мы, советские люди, смело решаем и не такие технические задачи. Что скажете про наши спутники? Ведь казалось бы — трудная, неразрешимая задача в условиях бездорожья и разгильдяйства, а подите же — летает! Так и здесь ...

Он слушал недоверчиво и все косился на свою удочку со спиннингом.

И я забросил крючок. То есть, я думал, что это крючок, но он уж как-то тяжело бухнулся в воду, далеко от берега. Я стал искать глазами поплавок, красненькую такую штучку, которая обязана была плавать по поверхности, но она не плавала. Я посмотрел на мою удочку. А где же этот хваленый японский спиннинг? Где, я вас спрашиваю? Я перевел взгляд на моего прокурора. На его лице застыл тот же вопрос. И кроме того, там еще было написано: "Что же ты наделал, сука советская? Будь сейчас моя воля, я бы тебя утопил так же, как ты мой спиннинг. Неужели ты, дрянь, оккупант, не понимаешь, что мне этот спиннинг дороже, мать твою, всей болгаро-советской дружбы, что я купил его за твердую валюту в капстране, продал свою честь и совесть коммунистам, чтобы иметь одно удовольствие в этой собачьей прокурорской жизни — поудить рыбку, посидеть одному, без жены, этой толстой коровы, без детей — двоечников и прохвостов, без товарищей по партии, этих ворюг и кознокрадов, которых и надо судить по всем законам военного времени, а не несчастных этих идеалистов, воображающих, что всякая там демократия-демократия лучше моей привилегии посидеть с моей удочкой и японским, господи, японским, бывшим спиннингом! Что же ты наделал, кретин, неуч, урод советский?"

— Ну-ну, не расстраивайся так, — сказал я ему отечески. — Как потеряли, так и найдем. Нам не впервой. Мы, советские люди, знаешь, когда счастливы? Когда что-нибудь потеряем, а потом найдем. Мы всегда так.

Я снял туфли, носки, галстук и брюки и полез в воду. Я примерно помнил, куда оно упало, но не знал, глубоко ли там. Я не могу сказать, что я ни разу не нырял. Нырял, конечно. Но это было

однажды в Сандуновских банях, где я по пьяному делу утопил в бассейне свои часы. А второй раз это было в Гаграх, где волна накрыла меня с ног до головы, но я все-таки, как видите, вынырнул...

Вода была холодная. Когда я дошел до пояса, я вспомнил, что забыл снять пиджак. Я оглянулся. Прокурор, как изваяние, застыл на берегу, с надеждой и болью всматриваясь в воду. Он козырьком прижал руку ко лбу и был очень похож на Чапаева, высматривающего врага. Только без усов.

И так его было жалко! Зачем он связался с таким дураком, который даже удочку забросить не может? Откуда я взялся на его голову? Жил бы себе поживал, удил рыбку, отправлял людей в тюрьму. Все было как у людей. Надо же...

Я шел по дну и нащупывал ногами каждый камешек. Вот, вроде, здесь, в этом районе. А может, там? Нет, здесь. И тут я на него наткнулся!

— А-а-а! — заорал я. — Попался, самурай! Банзай! Ура! Да здравствует вечная, нерушимая болгаро-советская дружба! Харакири!

И прокурор плясал на берегу, как индеец! Он исторгал визгливые торжествующие звуки, размахивал руками, бил себя по ляжкам. Увидали бы его сейчас его заключенные! Он был красив в эту минуту, как Болгария!

Я выскочил на берег со спиннингом в руке, и мы еще немного попрыгали и порадовались.

— Товарищ! — сказал я. — Советскому человеку не свойственно бросать в беде младших братьев. Мы ведь — в семье единой, в семье новой, вольной. Понимаешь, о чем я говорю? Когда наш болгарский товарищ остается без своего спиннинга, советский друг всегда придет на помощь! Так что, ты уж не очень...

Он обнимал меня, прижимал к своему сердцу, тряс руку. Так в обнимку мы и пришли к вилле, которая называлась "охотничий домик". Там лакеи уже выставили на стол то, что мы выловили своими удочками: тут была и семга, и севрюга, и крабы, и омары, и икра черная, и коньяк и шампанское. Небольшой струнный оркестр услаждал наши закаленные рыбацкие души, пиджак мой сушился у огромного камина, девушка в болгарской национальной одежде скашивала на меня, старого рыбака с хемингуэевским выражением глаз, свои карие, лукавые очи.

Мой прокурор сидел за столом в обнимку со своими удочка-

ми и, когда я на него смотрел, вытягивал ко мне свои толстые прокурорские губы, любовно ими причмокивая, и говорил: "м-м, друже!". И когда я орал ему после подпития: "Хорошо тебе, прокурор?", он яростно отрицательно качал головой, что по-болгарски означало "да!".

То, что по-болгарски "да", по-русски "нет".

## НА СТАДИОНЕ

На стадионе я любил бывать с моими друзьями. И они любили со мной ходить. Им нравилось, что я ничего не понимаю в футболе и хоккее, и они могут меня учить премудростям игры.

Мы садились обычно в ложе прессы, куда у нас был постоянный пропуск и попасть куда для простых смертных было самой заветной мечтой.

Мой друг поэт Юрий Ряшенцев всегда просил меня до матча:

— Не заводись. Там же сидят интеллигентные люди. Они могут тебя неправильно понять, и ты мне испортишь репутацию. Сиди тихо, как все спортивные журналисты, и смотри. Что будет непонятно, я объясню.

Ложа прессы на стадионе — мир профессионалов. Здесь знают все: от мельчайших подробностей в жизни игроков до темных закулисных дел, в которых завязаны тренеры, их жены, начальство, спортивные меценаты и партийные тузы. Поэтому, когда трибуны хлопают, свистят и орут "на мыло", ложа прессы сохраняет невозмутимость и благонравие.

Стадион — это очень богатое место. Я всегда мечтал устроиться туда уборщиком. Чтобы стать уборщиком на стадионе, нужно заплатить большие деньги, потому что эта должность очень прибыльная. Почему? Бутылки. Если на матч пришло 60 000 болельщиков, это минимум 30 000 бутылок: ну кто же не хочет выпить на стадионе? Бутылки остаются под скамейками. После матча уборщики собирают урожай. 30 000 по 12 копеек... Посчитали? Пошли в уборщики?



На стадионе "Динамо" шел матч между "Спартаком" и "Динамо". Мы сидели с Юрой Ряшенцевым, и я болел за "Динамо". Юра говорил:

— Удивительно! Вот ты — антисоветчик, а болеешь за милиционеров. Как это можно совместить в своем сознании? Что у тебя общего с "Динамо"?

— Хомич! — ответил я. — Хомич еще в детстве поразил меня умением бросаться под ноги врагу. Я не предаю идеалов юности.

— А ты погляди на нашего Хусаинова, — говорил Юра. — Вот это класс!

Игра шла вяло. И вдруг по стадиону пронесся шум, и на правительственной трибуне показалось правительство. Рядом с Хрущевым стоял Кастро.

Стадион поднялся и устроил вождю овацию.

— Смотри, кто к нам зашел, — сказал я, — Фиделюшко!

— Заткнись, — сказал Юра.

Неподалеку от нас стояла девушка. Она так хлопала, что я даже заглянул ей в глаза: я никогда не видел такого искреннего энтузиазма. И я увидел в ее глазах обожание. И даже сексуальное желание. Ее глаза говорили: "Хочу ребенка от Кастро!" И это показалось мне таким странным, даже диким, что я заорал что было сил:

— Хочу ребенка от Хусаинова!

Я орал и смотрел на эту девушку. Я хотел, чтобы она поняла, как это смешно и дико чувствовать то, что она чувствовала. Но она ничего не видела и не слышала. Она самозабвенно хлопала в ладоши и обращала пылающее лицо к Фиделю Кастро, котрый махал рукой и, улыбаясь, переговаривался с Хрущевым.

А я думал об этих обманутых романтикой революционных фраз, о невинных существах, тянущихся всем сердцем к циничным властолюбцам. О молоденьких народницах и безусых социалистах, о юных интеллигентах, проносящих бомбы в футлярах из-под скрипок, о строчке "весь мир насилья мы разрушим до основанья", о миллионах людей во всем мире, страстно, как эта девушка, отдающих себя всепожирающему пожару, безумию, борьбе за несправое дело.

— Хочу ребенка от Хусаинова! — орал я, и все недоуменно оглядывались на меня и пожимали плечами, и отворачивались.



А Хусаинов, наверное, подбодренный моим криком, забил гол в ворота "Динамо".

— Скушал? — спросил Юра. — Это тебе в назидание. Чтобы не приставал к девочкам на стадионе.

А я и не приставал. Я ее просто жалел. Жалеть, по-русски, значит любить.

Однажды Юра привел меня на хоккей. Он был из тех интеллигентов, которым немного стыдно, что они такие умные и талантливые, и им очень хочется быть поближе к народу. Но поскольку они не пьют, не матюкаются и не воруют, то выход у них один — спорт. Придумываются легенды о том, как еще в институтские годы они играли в сборных командах на первенство, присовокупляются знакомства со знаменитыми спортсменами, шпарятся наизусть результаты встречи "ВВС — ЦДКА" в 1945 году, прогнозируются игры будущего. В общем, когда разговариваешь с человеком вроде Юры Ряшенцева, и в голову не придет, что это тонкий эстет, поэт, знаток Пастернака и Гумилева. Спорт — защитная реакция от мира. Многие талантливые писатели, испугавшись России, ушли в спортивные журналисты. Вот почему в ложе прессы так много интеллигентных лиц и разговоров об Ахматовой, Мандельштаме и Пикассо.

Мы сидели во дворце спорта в Лужниках неподалеку от площадки. Я занимал Юру вопросами:

— А что должен делать вон тот длинный игрок с палкой?

Юра, увлеченный хоккеем, огрызнулся:

— Не валяй дурака, мешаешь.

— А почему вон тот товарищ толкнул своего друга-соперника? — приставал я.

Старожилы ложи прессы немного косились на меня, но я уже не мог остановиться:

— Послушайте, товарищ, — я встал и показал пальцем на игрока, только что применившего силовой прием, — Как его фамилия?

— Это Фома, — сказал обомлевший Юра.

— Товарищ Фома! Это я вам говорю, — сказал я.

Фома остановился и посмотрел на меня.

— Зачем вы уронили того товарища? — строго спросил я. — Как вам не стыдно? Ему наверное больно! Очень неспортивно так

себя вести!

Фома, как замороженный, слушал мою речь. Подъехал судья.

— Что происходит? — спросил он.

— Не знаю, — сказал Фома. — Вон тот чего-то пристал.

— Сядь, псих! — обморочно сказал Юра. — Перед людьми же стыдно.

Ложа прессы смотрела на меня скорбно и брезгливо.

— Ну невозможно же смотреть, как здоровый, цветущий мужчина обижает своего товарища, — сказал я.

— Какого товарища? — зашипел Юрка. — Он же из другой команды!

— О! Это совсем другое дело! Продолжайте, товарищ Фома. Примите мои извинения.

И Фома бросился на половину противника.

Юра вытянул меня из зала и со слезами в голосе сказал:

— Ты совсем уже дошел! Это невиданно! Ты же остановил игру, кретин!

— Ну а так бы она себе шла и шла, — сказал я. — А теперь ты сможешь всем рассказывать, какой урод твой друг. Но посмотри на этого Фому! Он-то почему остановился? Уж, видно, очень начальственный у меня был голос. Когда пойдём на стадион в следующий раз, старик?

## “СЛУШАЙ, ПОМОГИ!”

Натан поехал на Олимпиаду в Лейк-Плесид. Фирма, где он работал, послала его сделать фоторепортаж об Олимпийских играх. Натан еще в Москве был спортивным фоторепортером и здесь тоже работал фотомастером.

В советской делегации было много знакомых. Все только удивлялись, что не видели его в самолете и в гостинице. Когда Натан объяснял, что он довольно давно эмигрировал, все скисали и, опустив глаза и бормоча что-то под нос, исчезали. Натан не обижался: ну что ж тут поделаешь? Им не положено.

Однажды на улице к нему подошел здоровенный казах и попросил показать дорогу. Путая казахские, русские и английские слова, он на пальцах пытался объяснить, что заблудился.

— Ну чего там, — сказал Натан, ты валяй по-русски. Я понимаю.

— Так ты наш! — обрадовался казах. — Что-то я тебя в гостинице не видел.

— А я не в вашей гостинице живу, — сказал Натан. — Я в другой.

— Как в другой? — изумился казах. — Кто ж тебе разрешил? Ты из какой газеты?

— Понимаешь, — сказал Натан, — я здесь живу. Я от американской газеты.

— Да ты что! — сказал казах. — Разве американцы умеют так по-русски...

— Понимаешь, я бывший русский, я сюда навсегда переехал два года назад. Понял? А сюда на машине приехал.

— На машине? На своей машине?

— А ты кто такой?

— А я министр физкультуры Казахстана, — сказал казах. — Вот оказали доверие, включили в состав делегации... Так на машине, говоришь?..

— На машине...

— Хорошая машина?

— Хорошая.

— Не казенная, своя?

— Своя.

Министр физкультуры поглядел на Натана, посверкал узкими своими глазками по сторонам и сказал:

— Слушай, помоги, а?..

Натан похолодел. Он подумал, куда он денет этого здоровенного казаха, если тот вдруг попросит политического убежища? Полиция... Потом надо везти его домой, пока не кончится процедура... Казах будет задавать дурацкие вопросы, на которые надо будет отвечать. И зачем я ему сказал про машину? Он на машину клюнул, сучий сын...

— Слушай, помоги, — сказал казах. — У меня есть коньячок. Армянский. Купи, а? Будь другом, а? Четыре бутылки.

— На черта мне твой коньяк? — с облегчением сказал Натан. —

Вон там за углом "Наполеоном" хоть залейся. По пять долларов бутыль.

— А у меня еще и икра есть, — с надеждой сказал казах. — Четыре баночки.

— Почему это у тебя всего по четыре? Четыре-четыре, как счет в хоккее.

— Больше нельзя, — сказал казах. — Больше не положено. Мне же доверие оказали, в состав делегации включили. Не могу же я рисковать.

— Икра черная?

— Красная.

— Почему не черная?

— Черную не завезли. Красную завезли.

— Ну и сколько ты хочешь?

— Тридцать долларов дашь?

— Двадцать.

— А двадцать пять? — жалобно сказал министр.

— Двадцать! — жестко сказал Натан.

Казах открыл портфель и стал совать в руки Натана бутылки и банки.

— В гостинице неудобно, сам понимаешь, замести могут, — сказал он. — А так, выручил ты меня. Не везти же обратно. Джинсы, шминсы, то, се... Так говоришь, своя машина?

— Своя.

— Лучше наших?

— Лучше.

— Лучше..., — задумчиво сказал казах. — Насовсем, значит, переехал. А по березке не скучаешь?

— А ты скучаешь?

— Нет, я не скучаю.

— И я не скучаю.

— Ну бывай. Выпей за наше здоровье, чтоб мы пропали! — сказал казах и печально побрел прочь.

А икра оказалась тухлой.

Зато коньяк был хороший. Я его пил у Натана.

За здоровье того физкультурного казаха.



## **СОН В РУКУ**

И приснился мне, братцы, сон. Сны, как известно, возникают сами собой. Нельзя заказать сон на ночь: мол, будьте любезны, приснитесь мне сегодня, молодая Лоллобриджида в соответствующем виде и заливная осетрина под майонезом. И — наоборот: в эту ночь будет сниться твой босс, давно имеющий на тебя зуб, и какой-то тип в сабвее, лезущий на тебя с ножом.

Но мне приснился такой сон, что я утром вскочил и поскорее записал его на бумажку. Мне приснилось, братцы, что я попал в Москву.

Как это вам нравится? Наверное, подсознательно мой мозг все еще не забыл тихих Мещанский улиц, Цветного бульвара с шахматистами на скамейках, старых товарищей, теперь уже по-настоящему старых, родных, тетю Маню и дядю Нусю, девочку с факультета журналистики, запахов, грязного московского снега... Короче, взял я во сне билет на самолет и полетел в Москву.

Во сне я был с бородой и в больших роговых очках. Наверное, для того, чтобы меня не сразу узнали. Стюардесса сказала:

— Наш самолет прибывает в столицу Советского Союза — Москву. Прошу пристегнуть ремни.

По радио раздалась песня "Кипучая, могучая, никем не побеждаемая...".

Мы преземлились и нас отвели к таможенникам. Молодой парень, даже не взглянув на меня, стал рыться в моем чемодане.

— Литература есть?

— Нет.

— Ценности какие-нибудь везете?

— Нет.

— Американец?

— Да.

— Какая цель поездки?

Тут я задумался. А какая цель? Повидать друзей и родственников? Пройтись по знакомым местам? Тряхнуть стариной? Вспомнить молодость?

— Деловая поездка, — сказал я.

— Надолго в нашу страну?

— В вашу? Ненадолго.

Он внимательно на меня посмотрел. Разговор у нас шел по-английски, но он что-то понял. Да и фамилия у меня...

— Что ж, — сказал он, — идите, мистер. Счастливого пребывания в нашей столице.

И я поехал в город. Все было знакомо и незнакомо. Вот этих домов тогда не было. И автобус другой марки. Смотрите, троллейбус! А я уже отвык. А люди? А люди те же. А вот и очередь в магазин. А я уже отвык.

Я снял номер в гостинице и вышел на улицу Горького. Я решил немного прогуляться, а потом позвонить некоторым своим друзьям. А к другим я решил свалиться, как снег на голову. Хотел посмотреть на их лица.

Я шел мимо театра Ермоловой, мимо Центрального телеграфа, мимо здоровенного полукруглого дома сталинской архитектуры и смотрел на людей. И будто не было этих семи лет эмиграции, будто вернулся из отпуска в Крыму, куда слетал на недельку пожариться на солнышке.

(Для тех, кто пропустил начало, напомню, что это я рассказываю свой сон. Это все мне во сне приснилось, братцы.)

И тут я увидел своего старого товарища. Мы с ним частенько сидели в кафе "Националь", на первом этаже. Он посмотрел на меня и не узнал. Ну, конечно же, борода, очки. Я подошел к нему и сказал:

— Здравствуй, Витя. Не узнаешь старых друзей?

— Здорово, Илья, — сказал он. — Ты из "Националя"? А я только иду.

Я немного удивился. Ведь он же знает, что я в Америке. По крайней мере, должен там быть. А я здесь, на улице Горького. Может, это я сплю? Фу ты, черт, я же вправду сплю. Это он мне снится. А может, это я ему снюсь?

— Вот, — сказал я, — приехал посмотреть, как вы тут без меня живете.

— А как живем? — сказал Витя, — нормально живем. Ты на Олимпиаде-то был? Видал, как наши отличились?

— О чем ты, Витя? — сказал я. — Какая, к черту, Олимпиада? Ты мне скажи, как вы тут? Что нового?

— Вот я и говорю, — сказал он. — Олимпиада была летом. До сих пор переживаем. А ты как?

— А я работаю. Дом купил.

— Машина есть?

— Есть. Две.

— У меня тоже скоро будет. Очередь подходит. Ну и как живешь?

— Хорошо. Сын растет. В школу уже пошел.

— А мой уже кончает, лоботряс. Все на гитаре бренчит.

— Так как же ты живешь?

— Слушай, мы же говорили, что Бескова давно пора снимать, потому мы и не взяли футбол.

— Ясно. Ну бывай. Привет ребятам.

— Будь здоров. А ты не изменился.

И пошел дальше.

Тогда я взял такси и поехал к моему лучшему другу. Я знал, что он купил новую квартиру, я сам был там записан десять лет тому назад. Но дом этот теперь уже, наверное, построили. И друг мой должен там жить. У метро "Аэропорт".

Я позвонил. Я очень волновался, потому что любил моего друга. И он меня любил, я знаю. Он открыл дверь, и я сказал:

— Привет вам от вашего друга. Он меня просил передать привет из Америки.

Он сухо сказал:

— Входите.

Он поседел. И морщин прибавилось. И потолстел. Только очки те же. С гедезеровской оправой.

Я вошел, снял плащ, прошел в гостиную. Красиво. Европейская мебель. Эстампы на стенах. Балкон.

— Здравствуй, — сказал я. — Не ждал? Наливай по первой. После первой не закусываем.

Он смотрел грустно и настороженно.

— Ну что ты, — сказал я, — мы же не виделись столько лет! Новая квартира. Как жена, дочка? Как вы тут? С кем коньяк пьете? Слышал, что в Польше творится?

— Да мы помаленьку, — сказал он. — Дочка институт кончает. Про Польшу не надо. Квартира хорошая, сам видишь. "Жигуленок" бегают. А ты как?

— Все, вроде, хорошо. Работаю. Дом купил. Мортгидж, знаешь, какой? Пятнадцать процентов, чтоб они сгорели! Но приходится. На-

до же что-то с налога списывать...

— О чем ты? — сказал он. — Ты что-то не то говоришь...

— Прости, — сказал я. — Это я забылся на минуточку. Так как работается?

— Все по-старому. Был на Олимпиаде? Ты Олимпиаду смотрел по телеку?

— Нет.

— Ты с ума сошел! — оживился он. — Это было что-то невероятное! Особенно у гимнасток. Я, как ты помнишь, всегда любил гимнастику...

— Толя, — сказал я. — Гимнастика — это чудно. А ты-то сам как?

— Я? А что я? Я как все. На работу, с работы, тиви, концерты. Генку Хазанова помнишь? Мастер! Обхохочешься. Ну как Райкин!

(Это сон, братцы, это сон. Во сне я все это видел).

— Ну давай по второй. После второй не закусываем.

— Ты здесь... это... легально?

— Ну да. Взял билет и приехал. Тебя посмотреть.

— Мне теперь докладывать, что ты заходил...

— Куда докладывать?

— Ты что, маленький? Или все забыл? Ты же из Америки! Не доложи я...

— Ох ты, Господи! Я и забыл.

— Ну бывай.

— Давай по третьей. После третьей не закусываем.

Я вышел из дома моего друга и побрел по Ленинградскому проспекту. Вот это да! Мне ведь так много хотелось ему рассказать. И расспросить. И ничего не получилось. Почему? Ведь он умный, свой человек, мы с ним были, как иголка с ниткой, куда он, туда и я. И наоборот.

Я сел в такси и поехал к своей тете. К Выставке. Шофер сказал:

— Ты где такой плащик отхватил?

— Какой плащик?

— Ну этот плащик, что на тебе...

— А этот... В Америке.

— Продай, — сказал шофер, — я хорошо заплачу. А джинсы есть?

— Есть.



— Почем?

— А ни почем. Я их сам ношу.

— Ну ты как неродной, — сказал шофер. — Ты что, маленький? Или тронутый?

— Я не фарцовщик, — сказал я. — Я турист. Вот приехал посмотреть столицу вашей родины.

— Смотри, смотри, — сказал шофер, — зенки только пошире раскрывай, а то не все увидишь. А то, может, отдашь плащик-то?

— Нет, не отдам, — сказал я. — Без плаща холодно тут у вас.

...Когда в квартире тети Мани улеглись все крики, связанные с моим приходом, и были в тысячный раз рассказаны истории про всех членов нашей семьи, от мала до велика, эмигрировавших в Америку, дядя Нуся сказал:

— Ну и что ваш президент, он все еще хочет войны?

— Почему это он хочет войны?

— Что ты мне рассказываешь? Он хочет войны! Ты что, не мог ему объяснить, что наш народ не хочет войны? Он что, забыл, сколько наших полегло в ту войну? Ему мало?

— Дядя Нуся, — сказал я, — не морочьте мне голову. Никто у нас не хочет войны. И президент не хочет. Мы только боимся, что вы на нас нападете, как на Афганистан, и нам придется дать вам по зубам.

— Знаешь, — сказал дядя Нуся, — эта Америка таки вычистила тебе все мозги. На кого это мы нападаем? И что ты морочишь нам голову с этим Афганистаном? Это же дикие люди, и мы пришли им помочь строить светлую жизнь!

— Нуся, — сказала тетя Маня, — оставь его в покое, ты не на партсобрании. И это твой племянник. Ты его хорошо знаешь, он всегда был против. Не трогай его, не для того он к нам приехал.

— И скажи своему президенту, — продолжал дядя Нуся, — что мы не потерпим у себя всяких твоих диссидентов-шмиссидентов, чтобы они снова вернули нам царя и помещиков-капиталистов. Нам и без них хорошо.

— Передам, — сказал я. — Непременно передам. Вы не волнуйтесь, дядя.

— И пришли дубленку и джинсы Фимочке, — сказал дядя Нуся. — Родственники называется. Обжираются в своей Америке, а Фимочка должен ходить босый и голый.

— Пришлю, — сказал я. — Не будет Фимочка голый и босый.

Я проголодался. (Во сне можно проголодаться даже после тетиманиного обеда. Вы не забыли, это я сплю, это сон такой идет, братцы). И снова очутился на улице Горького, у ресторана "Арагви". Стояла очередь, как семь лет назад. Толстомордый швейцар из бывших бериевских полковников никого не пускал. Я подошел к нему и сказал по-английски:

— Простите, я очень голоден и хотел бы посетить ресторан, о котором слышал много хорошего.

Очередь заворчала:

— Опять эти иностранцы, житья от них нет, всюду лезут без очереди, суки...

Швейцар цыкнул на очередь, и она тут же успокоилась. Он открыл передо мной дверь. Улыбка, похожая на оскал, осветила его мужественное палаческое лицо. Я дал ему доллар. Он проворно сунул его в карман.

Любезный метр посадил меня за пустой столик, и я на ломаном русском объяснил официанту, что... как это... румка водка энд тоник... нет тоник?... джаст водка... энд... селодка вис онион... как это по-русски? — лучок!.. энд... помидорчик... нет помидорчик? — огурчик... Нет огурчик?... Итс о'кей... суп... сациви... нет сациви? — бефстроганофф... Иес.. кофе... бренди... Бьютифол... Вери найс...

С соседнего столика внимательный белокурый юноша не спускал с меня глаз. Я его заметил еще возле тетиманиного дома. Славный ты мой, в красненькой рубашечке, хорошенький такой... Единственный, кому я здесь нужен. Спасибо за внимание.

— Хорошая погода, — сказал я ему. — А вы что думаете?

— Хорошая, — сказал он. — К вечеру будут осадки. Ветер слабый до умеренного. Температура в Тбилиси 15 градусов, в Москве 16.

— Замечательно, — сказал я. — Где я вас видел, не припомните?

— Везде, — сказал он. — Нас везде можно увидеть.

И улыбнулся.

Зубы были белые, волосы желтые, глаза холодные.

Я расплатился. И решил пойти в театр. В "Правде" было написано, где что идет. В Большом — балет "Зори здесь тихие", во Мхате — "Сталевары", в Вахтангове — "Человек с ружьем", в ЦТСА — "Давным-давно", в "Современнике" — "Вечно живые", в Малом —

– “Любовь Яровая”, во Дворце съездов – ансамбль Александрова... Я все это видел семь, десять, пятнадцать, двадцать лет назад. Пробежал заголовки: “Талант – народу”, “Вехи прогресса”, “Курсом мира и прогресса”, “Против опасных планов”... Это я читал всю мою жизнь... Как им самим не скучно это читать? А может, они и не читают?

Блондин тоже расплатился.

– Куда дальше пойдём? – спросил я.

– А куда хотите, – любезно ответил он.

Пошел в магазин. Тетка ссыпала грязную сморщенную картошку в газетный кулек. Лицо у нее было усталое и злое. И женщины по эту сторону прилавка тоже были усталые и сердитые. Никто не улыбался. Все было как всегда.

И ничто не изменилось. И зря я сюда приехал. Нельзя возвращаться в прошлое. Поезд ушел вперед, а они остались на перроне.

Я взял такси и поехал на аэродром. И взлетел.

И тут я проснулся. Я зажег лампу, закурил, посмотрел на спящую жену, заглянул в комнату сына, пошел в свой кабинет и записал эту историю. Я хотел освободить мое подсознание от этой мысли, которая, я знаю, часто приходит в голову людям, покинувшим родину. Я хотел проверить себя. И писал этот рассказ, точно следуя перепитиям моего сна. Конечно, его можно было записать в более сюрреалистической, даже кафкианской манере, но мы такие заземленные реалисты, что даже сны нам снятся реалистические, даже с примесью социалистического реализма. Ведь прошлое имеет способность приукрашать себя, делаться от времени все розовее и розовее. И вот мы уже забыли все плохое, и помним лишь хорошее и очень хорошее. А иногда и совершенно прекрасное. “Разве это картошка?” – говорим мы в супермаркете. – Вот в России была картошка, так это картошка!” “И это хлеб? – говорим мы, покупая французскую или итальянскую душистую булку, – Вот в России был хлеб – так это хлеб!”

Горек хлеб наш. Но был горше.

Вот такой сон мне приснился, братцы.

**ФОТОГРАФИИ**  
**ИЗ**  
**АЛЬБОМА**



*Все мы привезли с собой дорогие нам фотографии. Я иногда просматриваю эти документы прошлой жизни, эти остановленные мгновения юности и вглядываюсь в лица. И в памяти всплывают истории, которые вдруг попросились на бумагу. Они, как говорится, из разных опер, и наверное, по словам Станислава Ежи Леца, "в действительности все выглядит иначе, чем на самом деле"...*

*Но пусть все будет так, как вспомнилось...*

## СОСТРИЛ

Рассказывают, что вице-президент Академии наук Миллионщиков, будучи в Америке, устроил пресс-конференцию. Там его, между прочим, спросили: "Правда ли, что многие евреи хотят уехать из Советского Союза?" Академик подумал и ответил: "Это правда. Бегут, как крысы с тонущего корабля". Это он хотел дать евреям политическую оценку. Но журналистов и след простыл: все бросились к телефонам, чтобы дать сообщение, что Советский Союз, по мнению видного ученого, — тонущий корабль...

Миллионщиков умер от огорчения...

## ПОЭТ

Поэт Сергей Островой приехал по туристской путевке в Швецию. В какой-то газете его спросили:

— А вы кто?

— Я советский поэт Сергей Островой, — сказал Островой.

— А что значит "советский поэт"?

— Советский поэт — это поэт, пишущий для народа! — сказал Островой. — Мои стихи часто читает сразу пять миллионов читателей.

— Вот это да! — удивились шведы. — Как же это?

— А вот так, — с гордостью сказал поэт. — Мои стихи печатает газета "Правда", тираж которой не менее пяти миллионов экземпляров.

— А это кто? — не унимались шведы.

— А это моя жена. Между прочим, она арфистка. Между прочим, урожденная графиня Толстая, — смущаясь, сказал Островой.

На следующий день в газете появилась заметка следующего содержания: "Нашу страну посетил известный русский акын (народный поэт) Сергей Островой. Его стихи в пяти миллионах копий распространяет газета "Правда". В поездке его сопровождает графиня Толстая, аккомпанирующая ему на арфе".

## ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС

Однажды я был в командировке в Ярославле. Скука была жуткая. Я жил в гостинице неподалеку от филармонии. На ней висела афиша: "Гастроли хора венгерских цыган". Я зашел.

Народу в зале было немного, лишь первые три ряда были заняты местными начальниками и их женами. Их легко можно было узнать по затылкам.

Раздвинулся занавес. На сцене стоял весь табор, человек сто, с детьми и лошадьми. Лица у всех были постные. Вышел бородастый страшный дядька в сатиновой косоворотке, в сапогах, с малиновым платком у талии и объявил:

– Песня о Ленине!

Я обмер. А цыгане с постными лицами, в унисон, под аккомпанимент двух гитар затянули:

Под солнцем родины мы зреем год от года,  
Мы делу Ленина и партии верны...

Это было так смешно, я просто помирал от смеха. Первые три ряда с их женами обернулись и гневно посмотрели на меня. Но я же не нарочно!

Цыгане допели унылое

Ведет на подвиги советские народы  
Коммунистическая партия страны...

Первые три ряда жидко поаплодировали.

Потом на сцену вырвался тот же атаман-бородач и весело крикнул:

– А теперь наше, цыганское!..

И начался концерт.

## ВЕНА

Когда мы проснулись в Вене в пансионе мадам Беттины, в Москве начался первомайский парад. Ира сказала:

Утром встали — здасьте,  
Нет Советской власти!

Откуда она знает такие замечательные стихи?

## ТЕЛЕВИЗОР

На моей двери в редакции висела табличка "Евгений Сазонов". В эту комнату входить было опасно: там сидели остряки. Опаснее всех в этом отношении был художник шестнадцатой полосы Вагрич Бахчанян. Как только он появлялся, я всегда говорил ему: "Бах, я умоляю тебя, когда входят посторонние, не открывай своего чудовищного рта. Нас из-за тебя пересажуют. Обещаешь?" Бах был исключительно талантливым и изобретательным иллюстратором рассказов, появившихся на 16-ой полосе "Литгазеты". Он отвечал: "Я постараюсь, Илья Петрович". Но у него ничего не получалось.

В нашей комнате стоял телевизор. И однажды выступал Брежнев. Мы слушали. В комнату вошел старик К. из соседнего отдела. У меня с ним были хорошие отношения. В 37-м году его взяли прямо в кабинете редакции, и он отсидел в лагерях чуть ли не 18 лет.

— Кто выступает? — спросил К.

— Райкин, — сказал Бахчанян.

— Что вы говорите! — обрадовался К. и пошел к телевизору. Брежнев в эту минуту был очень похож на одну из масок Райкина с его неправдоподобными бровями. Но К. услышал брежневское: "Трудящие усей страны с охромным воодушевлением устретили... — и выскочил с изменившимся лицом из комнаты.



— Ну, кто тебя тянул за язык, Бах? — строго сказал я. — Сколько раз я всех вас просил не открывать свои пасти при посто-онних. Бах, я не могу тебе доверять...

— Доверяй, но расстреляй, — сказал Бах.

Дверь приоткрылась, К. поманил меня пальцем в коридор.

— Дождались, кретины, — сказал я и пошел к нему.

К. был очень возмущен.

— Слушай, — сказал он. — У тебя черт знает что творится! — Ты слышал, как этот тип сказал о Брежневе?

— Что он сказал?

— Он сказал, что это Райкин! Ты знаешь, что за это может быть? В мои времена за такое...

— Тебе послышалось, — сказал я, — я ничего не слышал такого.

— Как не слышал?

— Тебе послышалось.

— Что ты мне рассказываешь? Этот бородатый, ты за него все время заступаешься... В Венгрии тоже все началось с клуба Петефи...

К. спутал. Бахчанян не был бородатый. Бородатый был другой, Владик.

— Пойдем выясним,,,

Мы зашли ко мне.

— Что тут происходит? — сказал я очень, очень строго. — Ты, Владик, зачем сказал про Брежнева, что он Райкин? Что эта за выходка?

— Илья Петрович! — взвыл изумленный Владик. — Христом-Богом клянусь, я ничего не говорил. Как можно про Брежнева Пеонида Ильича такое сказать! Клянусь мамой, детьми моими нерожденными клянусь, клянусь своим подорванным здоровьем! Я клянусь...

— Не морочь голову, Владик. Ты с перепоя мог сморозить эту неуместную, глупую шутку, а теперь на нас настучат...

— Я не собираюсь, — сказал К.

— Спасибо.

— С какого перепоя? — обиженно спросил Владик. — Я и выпил-то всего бутылку. Максимум две.

И все обошлось.

А Вагрич Бахчанян теперь живет в Нью-Йорке.

## **КТО "СТУЧИТ"?**

Мы долго думали, кто у нас "стучит". Ну не может быть, чтобы не "стучали". Всюду "стучат", а у нас нет? Не может быть! Но кто? Все такие способные, остроумные, находчивые.

У нас в отделе работал В. Биография у него была очень пестрая. Он кончил только десятилетку и в свое время работал официантом в самых лучших ресторанах. И даже обслуживал кремлевские банкеты при Хрущеве. А потом стал писать. И писал, надо сказать, очень смешно. Когда его увидел писатель Морис Слободской, он сказал мне:

— Первый раз вижу человека одновременно из половых и из органов.

Но скорее всего, это была шутка. Я до сих пор не знаю, кто же у нас "стучал".

## **БЕРЕЗКА**

У меня была подруга, которая работала в ансамбле "Березка". Там была железная дисциплина. Ансамбль был выездной, валютный. Он объездил весь мир.

— Где тебе больше всего понравилось? — спросил я ее однажды.

— А мы ничего и не видели, — сказала она. — Концерты, репетиции, разъезды. Мы получали в поездке по десять долларов в день. И на них надо есть три раза в день и еще экономить, чтобы привезти домой на продажу всякое барахло.

— Как же вы управлялись?

— А мы покупали за границей самые большие чемоданы. Когда мы ехали туда, то чемоданы забивались продуктами на всю поездку: сахар, соль, печенье, колбаса, концентраты, консервы, чай, мыло, кофе, ну все, чтобы прожить и экономить. А обратно в тех же чемоданах мы провозили кофточки (наш кооперативный дом так и назы-

вался — “кофточкин дом”) , часы, платья, костюмы, дубленки, колготки... И на это можно было потом прожить очень хорошо, ты же знаешь, как идут заграничные вещи...

— Ну, предположим, вы на гастролях месяц. И ничего не едите. По десять долларов в день — это всего триста долларов. Что же можно купить на триста долларов при нынешних-то ценах?

— А распродажи? — сказала моя подруга. — Ты ведь не представляешь, какие у них на Западе распродажи! Нас специально привозили в такие магазинчики, где все почти даром. У них там это вышло из моды два-три года назад. А у нас — это мода будущего. Вот видишь эти дамские часики? Я отдала за них полтора доллара, а продам за 80 рублей. Ведь с руками оторвут.

— Но ведь так и от голода помереть недолго. Посмотри на кого ты похожа после этой поездки: кожа да кости.

— Ничего, — сказал подруга, — были бы кости, а мясо еще нарастет. Зато я не нищая и не проститутка. Наши девочки в ансамбле получают по 79 рублей в месяц. Можно на это прожить? А из поездок я и квартиру себе купила, и машину, и одета по-человечески...

Она рассказала, как они остановились однажды в небольшой гостинице в Швейцарии. И вечером перед концертом в гостинице погас свет. Раз погас, два. Хозяйка гостиницы очень взволновалась, а потом позвала руководительницу ансамбля Надеждину и сказала, что если свет погаснет еще раз, она выселит ансамбль “Березка” из гостиницы. Оказалось, что свет гас потому, что все девочки в одно время включали свои кипятильники: хотелось чайку перед концертом.

А железная дисциплина достигалась очень простым способом. Говорили, что в следующую зарубежную поездку поедет не сто человек, а семьдесят. И девочки начинали стараться. Партком был всегда завален доносами: девочки старались выслужиться и попасть в заветный список. Они писали, что Павлова в прошлой поездке вышла из гостиницы в вечернее время, хотя знала, что это запрещено, а Сидорова зашла вместе с Петровой в универмаг, хотя Василь Васильевич запретил туда заходить. Василь Васильевич — так звали всех кагебешников, которые были прикреплены к ансамблю во время поездок. Они занимали в ансамбле самые разные должности: балалаечника, рабочего сцены, помощника администратора. Но все назывались Василь Васильевичем и охотно отзывались на это имя: ка-

кая разница?..

Ансамбль "Березка" был замечательным. Иностранцы его очень любили и приглашали на гастроли.

Из крепостного театра тоже вышло много великих артистов.

## СЛУЧАЙ НА ОЗЕРЕ ИССЫК-КУЛЬ

Мы полетели в Киргизию. Это была писательская бригада "Литгазеты", знакомящаяся с жизнью страны. Секретари обкомов и райкомов рассказывали нам о своих достижениях. Писатели писали путевые заметки для газеты. Все получалось очень хорошо. Благосостояние неизменно росло, народ тучнел, коровы давали невиданные удои, которые царю и не снились, хлеба поднимались, хлопок зрел, все было чудесно.

— А теперь, дорогие наши писатели, прошу к столу, чем бог послал, — говорил в конце отчетов какой-нибудь районный бог, и мы совершали очередную трапезу, после которой уже не оставалось никаких сомнений, что колхоз (район, область, республика) не только догнал и перегнал Америку по количеству баранины и коньяка на душу населения, но и унесся далеко вперед, не оставив своему капиталистическому сопернику никаких шансов.

Потом нас укладывали в автобусы и машины и везли к следующему обжорству.

Одна из таких встреч с народом произошла на берегу озера Иссык-Куль, где местное начальство решило, "чтобы все было красиво".

И было очень красиво. Озеро это нельзя описать простыми человеческими словами. Это было чудо природы, возвышенное и романтическое. Со всех сторон слышались писательские восклицания, оценивавшие неслыханную красоту этих мест. Восклицания эти, в основном, были выразительны и лаконичны. Те, кто знают анекдот о том, как русский человек описывает салют: "Сначала..., а потом...!", может, примерно, составить себе представление о тех писательских восклицаниях. Но они были действительно восхи-



щенными и искренними. Вот теперь и вы поняли, как красив и величественен Иссык-Куль.

Наши хозяева расстелили огромный ковер на берегу озера. Подъехал грузовик, груженный баранами и колхозниками. Колхозники вытаскивали баранов и прямо на наших глазах резали им горло. Потом с них сдирали шкуру и рубили на шашлык. Для городского жителя сцена ужасающая. Ящики с коньяком и вином, фрукты и овощи, дыни и арбузы – все это прибавляло красок и без того ослепительным видам Иссык-Куля. Мы сели на ковер, поджав под себя ноги, и я уже поднес дымящийся кусок баранины ко рту, как вдруг глаза мои вылезли из орбит: из нежных спокойных голубоватых вод Иссык-Куля показался... перископ!

– Что это! – воскликнул я, потому что моих знаний было достаточно, чтобы понять, что озеро – это часть воды, со всех сторон окруженная сушей, как же здесь может быть подводная лодка!

– Не волнуйся, дорогой! – сказал местный вождь, поднимая свой бокал. – На том берегу озера наш народ делает эти славные подводные лодки на страх всем врагам мира и социализма! Так выпьем за их здоровье, этих мирных тружеников Иссык-Куля!

Мы ели свои шашлыки и запивали их вином и коньяком. Перископ исчез в глубинах озера, розовый закат окрасил горы на горизонте. Их снежные шапки сверкали, как бриллианты, а склоны яркие, как картины импрессионистов, закрывали то, что было за ними.

А за ними был Китай.

## БАТЫР

Мой друг Джек получил ранение во время войны и был отправлен в госпиталь. Тогда его звали не Джек, а Яша. Госпиталь был в Средней Азии, в Казахстане. Наверное, рана была серьезная, вот его так далеко и послали. Госпиталь стоял на территории колхоза, который назывался "Смерть буржуазии". Джек спросил у колхозника казаха, что такое буржуазия. Колхозник был весь в орденах и меда-

лях. Весь халат был увешан. Батыр!

— Не знаю, — сказал колхозник. — Но наверно это был хороший человек, иначе зачем же русские хотят, чтобы он умер?

## ДВЕРЬ

У меня в доме в Вашингтоне раздался телефонный звонок.

— Это я, — сказали в трубке. — Хочу тебя видеть.

— Кто это?

— Ну я, я...

— Ну что ты меня разыгрываешь?

Он шепотом, неразборчиво назвал фамилию. Это был мой московский друг. Он приехал в Америку по туристской путевке. Он был очень знаменитый актер.

— Ну что ты шепчешь? — сказал я. — Здесь не подслушивают...

— Много говоришь, — прервал он. Он мне не верил. Он думал, что нас всюду и всегда подслушивают. Я приехал за ним в гостиницу и послал чужого мальчика вывести его на улицу, к моей машине. Такое он поставил условие. Кепка у него была натянута на глаза, воротник плаща поднят. Ну как в фильмах о шпионах тридцатых годов. Я дал мальчику доллар, и мы рванули ко мне домой. Через три мили он сказал:

— Здорово, старик!

— Здравствуй, дорогой!

Мы подъехали к дому.

— Что ж ты дворники не снимаешь? — изумился он.

— Дворники? — я и забыл про дворники, как их снимают, чтобы не украли. — У нас не воруют...

Он смотрел недоверчиво.

Я показал ему дом.

— Зачем тебе столько комнат? — сказал он. — Вас же всего трое. Какой у тебя метраж?

Я не знал, какой у меня метраж,

Он сказал:

— Знаешь, что я пою, когда смотрю на эти ваши витрины, машины, дома? Я, как советский человек, пою: “Пусть ярость благородная вскипает, как волна!..”. Ну я понимаю, — сказал он, — это тебе ЦРУ к моему приезду выдало дом, машины...

— Жену, ребенка, — сказал я.

— Верно! Но нас на мякине не проведешь! Что ты мне свои этажи показываешь! Я, может, тоже получил разрешение пробить дверь!

— Куда?

— Понимаешь, — сказал он, — я недавно опять женился. Моя жена живет со мной на одной лестничной площадке в нашем кооперативном доме. Скучно же нам, сам понимаешь, ходить друг к другу в гости через общую лестничную площадку. Тем более, что мы расписались. Я решил пробить дверь из моей однокомнатной в ее. Нельзя. Не положено. Меняйте, говорят, две разных на двухкомнатную. Ну зачем? У нас же это все есть. Надо лишь дверь пробить. Нельзя. Но я же знаменитый! По мне девки с ума сходят. Меня начальство по морде узнает. Даже на улице оборачиваются. Я к Промыслову, хозяину Москвы. Секретарша меня без очереди. Узнала, значит. Я ему все объяснил. Он говорит: только вам, в порядке исключения. А ты все: Америка, Америка! У нас тоже теперь дверь пробита.

Я слушал горькие шутки моего товарища и думал: “Он артист, равный по масштабу и славе Марлону Брандо, Джеку Лемону... Как унижительно ему просить милостыню у этих нищих...”.

## **ЖЕНА ПЛАЧЕТ**

Когда мы уезжали, моя жена горько заплакала. К ней подошел Леон Канн, отказник, известный звукооператор, обнял ее и сказал:

— Видишь этот лозунг на стене?

Там было огромными буквами написано: “Коммунизм победит!”

— Вот этого ты больше никогда не увидишь!  
И жена перестала плакать, и мы улетели в Вену.

## ЦДЛ

Писатель Зиновий Паперный вел вечер, посвященный юбилею Дома Литераторов. Он сказал:

— Заместителем директора у нас работает Михаил Шапиро. Прошу не путать его с Шапиро из газеты "Нью-Йорк таймс". Как говорится, два мира — два Шапиро.

## ДВЕ ЭМИГРАЦИИ

Я ехал в лифте со своим другом из второй эмиграции. Мы говорили по-русски. На шестом этаже в лифт вошел старичок. Он услышал наш русский и сказал мне:

— Как вам нравится, они не пришли на его похороны!

— А может, они заболели? — сказал я.

— Что вы мне говорите! — воскликнул старичок. — Это точный знак! Происходит нечто очень важное. Так просто это не бывает!

— Поживем — увидим...

Мой друг с любопытством слушал наш разговор.

— До свидания! — сказал старичок, когда мы спустились. — Вот увидите, это неспроста!

Мы раскланялись.

— О чем вы говорили? — спросил друг. — Вроде, все по-русски, а понять ничего нельзя.

— Ты знаешь этого человека? — спросил я. — Сколько лет он живет в Америке?



— Конечно, знаю. Он из меньшевиков. И живет здесь с 21-го года.

— Боже мой! — сказал я, — Это удивительно! Человек живет здесь шестьдесят лет. И все эти годы он как бы не уезжал из России! Он живет только той жизнью, которую он оставил, когда ему было... сколько?.. двадцать, двадцать два?

Он спросил меня: "Как вам нравится, они не пришли на его похороны". Это означало: умер член Политбюро Кулаков, но на его похороны не пришли ни Брежнев, ни Косыгин, ни Громыко. Я сказал: "А может, они заболели?" Он сказал: "Что вы мне рассказываете? Это точный знак. Так просто это не бывает." Это означало: в Кремле происходит переворот, и, быть может, Кулаков был жертвой заговора вождей, а быть может, он сам составил заговор и был убит! Потом он сказал: "Вот увидите, это неспроста!" Это означало: если я прав, то я недаром живу на чемоданах вот уже шестьдесят лет. Там сейчас произойдет революция, и я вернусь домой в Россию."

— С ума можно сойти! — сказал мой друг. — Но ты-то откуда знал про все эти дела и недомолвки, про этот текст между строчками?

И в самом деле, откуда старичок мог знать, что я его пойму?

## КРАСНАЯ КАВАЛЕРИЯ

Шла гражданская война. В белом Ростове в ночном кабаре выступали братья Покрасс. Дмитрий, Даниил и Самуил. Они развлекали белых офицеров. Коронным номером программы была песня "Мы белая кавалерия, и про нас былинные речистые ведут рассказ..." При этих словах офицеры вставали со своих мест с бокалами в руках и, мрачно покачиваясь, слушали стоя эту лихую песню. Потом они садились и пьянствовали всю ночь, как можно увидеть в советских фильмах, посвященных той глухой поре.

Но Первая Конная не дремала, и в одну прекрасную ночь

ворвалась в Ростов. Белые бежали. А братья Покрасс остались. Не успели. Ночная работа. Ты спишь, а красные уже в городе. Красные, белые, зеленые... Всякие. И каждый раз надо менять репертуар. "Мы зеленая кавалерия и про нас..."

Самуил Покрасс проснулся первым. Он посмотрел в окно, увидел всадников под красным флагом и сказал:

— Братья, я устал. Я устал менять репертуар, я устал от этой жизни, я устал от белых, красных и зеленых, от оранжевых и серо-буро-малиновых в крапинку. Я устал жить в этой стране, где кроме крови ничего не льется. Я сматываю свои монатки и еду, куда бы вы думали? — в Америку! И пусть горит земля под ногами этих всадников цвета радуги. Кто со мной, братья?

Дмитрий и Даниил молчали. Они, наверное, представляли себе, что красные все-таки победят, и они напишут замечательные песенки типа "Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля"... Или "Но разведка доложила точно, и пошел, отважен и силен... Три танкиста три веселых друга — экипаж машины боевой... Или "И родная отвечала: я желаю всей душой: если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой"...

Они не хотели себе ни смерти мгновенной, ни раны небольшой. Поэтому они сказали брату Самуилу:

— Езжай, Сэм (Самуил по-американски будет Сэм), скатертью дорога, а мы уж здесь перемучаемся.

И Сэм Покрасс выскочил в окно и огородами ушел в Америку. Но перед тем он сел за стол и написал песню "Но от Москвы до британских морей Красная армия всех сильнее." Он отдал ноты Дмитрию и Даниилу, и был таков. Думаю, что оставшиеся братья не скрыли впоследствии этот факт своей биографии, потому что Большая Советская Энциклопедия отметила его на своих страницах.

И что же? В Ростов въезжает командарм Буденный. Усищи — во! В глазах — огонь. В седле родился, в седле помрет. Орел! Казак! Красный герой! Лучше всего о нем говорит тот факт, что через двадцать лет после этого он с пулеметом отбил от пришедших по его душу сталинских чекистов, а через сорок сказал моему приятелю, своему зятю, следующее (мой приятель вернулся поздно ночью домой из театра, постучал в дверь своей квартиры, где он жил вместе с престарелым маршалом на улице Грановского в Мо-

скве, и сказал: "Открывай, дед!" "Кто там? – спросил Буденный в кальсонах, но при усах. "Свои, свои, открывай." Буденный впустил зятя домой и, хитро прищурившись, сказал) :

– А знаешь, сынок, что у нас говорили в Первой Конной?

– Что, дед?

– Свои, чужие – руби-и-и! – завизжал Семен Михайлович, размахивая воображаемой шашкой. И пошел спать.

О чем это я? Да! Так вот въезжает он в Ростов. А братья Покрасс смотрят в окно кабаре и горько сожалеют, что не составили компанию своему американскому брату Самуилу. И Буденный, разместив свой штаб именно в этом кабаре, говорит вылупившим глаза музыкантам:

– Желая я, чтобы вы, жиденята, придумали песню о славных моих конниках, лихо рубающих врага на вверенной мне территории. Если сей момент не будет песни, пархатые, висеть вам во-о-он на том телеграфном столбе. Несите, казаки, им фортепьяно.

Конники принесли рояль к тому месту, где сидел Буденный с буркой за плечами и саблей в руках, и командарм сказал:

– Валяйте , хлопцы.

Хлопцы сели к роялю, и Дмитрий, нет, Даниил вяло запел:

Мы красные кавалеристы, и про нас  
Былинники речистые ведут рассказ,  
Про то, как в ночи ясные,  
Про то, как в дни ненастные....

Веди, Буденный, нас смелее в бой,  
Пусть гром гремит...

ну и так далее, и тому подобное.

Буденный утер скупую небезжавшую слезу и сказал:

– Будете при обозе, жиденята. Лихую песню написали. Первая Конная вас не забудет.

И братья Покрасс остались в обозе Буденного. И все было, как они задумали. И стали соперничать с Дунаевским и другими лихими казаками советского песнотворчества. И слушая свои песни в кино и по радио, не уставали удивляться своей необычной революционной судьбе.

А где же брат Самуил? Что стало с Самуилом, а по-нашему, Сэмом?

Те из вас, кто постарше, помнят веселую американскую кинокомедию "Три мушкетера". Собственно, это было не по Дюма, а пародия, где роли трех мушкетеров исполняли известные комики братья Риц. Фильм этот показывался после войны, когда многие ленты были захвачены в Германии в счет репараций и крутились в наших кинотеатрах к радости зрителей и бюджетных начальников, выколачивающих с этого огромные деньги. Но в этом фильме была совершенно прелестная музыка. "Вари-вари-вари-вари, мечта моя, Париж, поэтами воспетый от погребов до крыш..." Помните? Неужели я уже такой старый, что вы этого не помните? "Тара-ри, тара ра ра ри, май бэби"... Ну? Вспомнили? Эх, не умею я писать ноты! Поверьте, чудные песенки это были! Тридцать лет прошло, а я все помню.

И вот я узнал, что эту музыку написал известный американский композитор Сэм Покрасс. Я решил во что бы то ни стало найти пластинку с этими песнями. Я осмотрел все фонотеки Вашингтона. Там их не было. Я дал заявку в Библиотеку Конгресса, и мне нашли маленькую рецензию из газеты "Нью-Йорк таймс", напечатанную в 1938 году (тогда и вышел фильм "Три мушкетера" с братьями Риц и музыкой Покрасса), где было сказано, что фильм получился так себе, зато музыка Покрасса, как всегда, свежа и приятно. Ну это я и без них знал.

Но важно лишь одно: мы помним то, что здесь давно забыто. И ушло в далекую историю. Как гражданская война. Как Буденный со своими усами. Как Дмитрий и Даниил. Как Сэм Покрасс.

И мы с вами уйдем и унесем с собой все эти истории и байки.

## ИГРА

В России писателей было много, а книг мало. Одних членов Союза писателей было восемь тысяч. Теперь, наверно, десять тысяч. Писатели — часть пятилетнего плана. И если в плане сказано,



что в будущей пятилетке должно быть больше мяса, молока, рыбы, галош резиновых и колец обручальных, то почему бы не записать планы приплота советских писателей? Так что теперь их значительно больше, чем в предыдущей пятилетке, из которой я эмигрировал.

Но и тогда было достаточно. Был даже такой справочник — телефонная книга Союза советских писателей, толстая-претолстая. И там числились все. На страничке располагалось десять-двенадцать фамилий, их псевдонимы, домашние телефоны и адреса. Для служебного, разумеется, пользования. И мы в “Литературной газете” играли в такую игру: я ставлю десять рублей, а ты — один рубль. Ты называешь страницу этого справочника и строчку сверху. Я открываю в этом месте и говорю, на чью фамилию ты попал. Если ты говоришь мне, что он написал, я даю тебе десять рублей. Если не знаешь, — даешь мне рубль. Это была игра наверняка: я всегда выигрывал. И когда мне были нужны деньги на такси, или еще на что-нибудь, я вынимал из стола мой справочник ССП и приглашал зазевавшегося интеллигента сыграть “в писателей”.

— Ну, — говорил я, — десять против одного. Чем ты рискуешь? Паршивым рублем? А выиграешь — вот она десяточка, румяная, свеженькая, прямо из Госбанка.

Никто не мог устоять.

— Страница 426, — говорил попавшийся, — шестая строка сверху.

Я открывал и читал:

— Мулдагалиев Джубан. Что он написал?

— ?

— Давай рубль.

— Не может быть! — возмущался мой клиент. — Давай еще! Я ж начитанный! Страница 20. Первая сверху.

— Набиев Бекир Ахмедович. Пожалуйста!

— Ты мне дай нормальные имена, хоть мало-мальски знакомые, — говорил попавшийся, вручая мне второй рубль.

— Я тебя не подгоняю, — спокойно говорил я. — Подумай, раскинь мозгами.

— 257. 2.

— Фогельсон Соломон Борисович.

— Хоть убей...

Я клал последний рубль в карман и снисходительно говорил:  
— А тем не менее, ты знаешь Фогельсона. Ты не раз напевал песни на его слова. И я напевал. Вот они:

Пора в путь-дорогу,  
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.  
Над мирным порогом  
Качну серебряным тебе крылом...

Или вот:

Ой вы, ночи, матросские ночи,  
Только море да что-то там вокруг...

— Откуда ты это знаешь? — удивлялся интеллигент, чья потерянная трешка не давала ему жить.

— Я культурный человек, — говорил я. (Просто я лично знал С.Б. Фогельсона).

Никто не мог выиграть у меня в эту игру. И немудрено: писателей в России — человек сто, а членов Союза писателей — восемь тысяч. Попробуй попасть в такой ораве на человека, которого ты действительно читал, или, по крайней мере, о котором слышал.

В Америке все наоборот. Здесь писателей мало, а книг — навалом! В прошлом году вышло 40 000 названий художественной литературы! Можно с ума сойти! Как пробиться через эту гору? Чем взять издателя? Союза писателей тоже нет. Издеваться не над кем.

Вот и стою я у подножья горы и не знаю, как к ней подступиться. Тем более, что истории мои написаны на чужом, невиданном здесь языке.





## ПРИЕМ В КРЕМЛЕ

Недавно, разбирая свой фотоархив, я натолкнулся на эту фотографию. Почему я вывез ее из Советского Союза? А потому, что знал, что нигде и никогда не увижу больше такой фотографии. Ведь все, что связано с именем предыдущих вождей, уничтожается последующими. Попробуйте найти в Советском Союзе фотографии прежних руководителей. Как выглядел Троцкий? На кого был похож Бухарин? А ну-ка скажите мне, какой был Зиновьев? Наши дети путают Сталина с Гитлером, а Хрущева — с Брежневым. Но мы, дети страшных дней России, забыть не в силах ничего. Вот почему эта фотография уникальна (она, кстати, не была напечатана и в Советском Союзе) и дорога мне. Мне подарил ее перед отъездом известный правительственный фотограф, а на таможне я сказал, что сам сделал эту фотографию на приеме, устроенном в честь интеллигенции в Кремле. Таможенник удивился и пропустил. Большое ему эмигрантское спасибо.

Итак, это прием Хрущевым советской интеллигенции. Все еще трезвые, хотя все уже готово. Никита Сергеевич сейчас скажет речь. Члены Политбюро радостно приветствуют вождя. Им помогают в этом представители так называемой "творческой интеллигенции".

Кто же это? Пойдем слева направо.

Крайний слева — скульптор Н.В. Томский, президент Академии художеств СССР. Нет такого памятника Ленину в городах и весях России, который он бы не изваял. Томскому же принадлежит памятник Гоголю, установленный на Гоголевском бульваре в Москве вместо того, великого, где сидящий Гоголь мучительно осмысливает жизнь свою. Того Гоголя упрятали в дворик на Суворовском бульваре. Гоголь Томского изображен во весь рост, держится молодцом и дико гордится достижениями советской власти. Так и хочется вместе с этим Гоголем, "задрать штаны, поспеть за комсомолом". Про него один печальный интеллигент сказал мне: "Разве это памятник Гоголю? Вот памятник Пушкину — это памятник Гоголю!"

За ним стоит М.А. Суслов, верный и стойкий оруженосец всех вождей — от Сталина до Брежнева. Неуклонно проводя в жизнь заветы находящегося у власти лидера, он, тем не менее, мастер по снятию их с работы. Он "снял с работы" Сталина, Маленкова, Хрущева. Леониду Ильичу есть о чем подумать в этой связи. Боюсь, что в столе у моего однофамильца уже лежит речь об ошибках, допущенных



в годы "культа личности" тов. Брежнева Л.И. Это говорит о бессмертности М.А. Сулова и его идей.

Позади отбивает ладоши лучшее перо партийной печати Юрий Жуков. На этом приеме он играет роль "творческой интеллигенции". Он мастер давать отпор вылазкам "империалистической реакции" и умеет говорить без бумажки, что в глазах вождей делает его просто гением. Думаете, это легко? А ну-ка попробуйте без бумажки про "империалистическую реакцию".

Полголовы, вылезавшие из-за Жукова, — Сергей Владимирович Михалков. Кто ж не знает дядю Степу? До войны Михалков был хорошим детским поэтом, веселым и звонким. А потом он решил, что нет тех званий, орденов и медалей, которые он не заслужил. Если я перечислю здесь лишь самые главные из завоеванных им наград, у вас станет темно в глазах. Не верите? Считайте: секретарь Союза писателей СССР, секретарь Союза писателей РСФСР, депутат Верховного Совета, лауреат Сталинских премий, лауреат Государственных премий, лауреат Ленинской премии, академик АПН СССР, Герой социалистического труда, заслуженный деятель искусств РСФСР, главный редактор киножурнала "Фитиль", секретарь правления московской организации. И это — только то, что я могу вспомнить. Нет таких орденов и медалей в стране и за рубежом, которые не украшали бы грудь, плечи и рукава Сергея Владимировича. На нем просто негде... медаль повесить. Но что поделаешь: такая у него слабость. Вот он и выглядывает из дальнего ряда, рассчитывая на новый орден.

Далее на переднем плане — старый большевик Ф. Петров, член партии с 139В года (виноват, он вступил на пятьсот лет позже). Так как всех его товарищей Сталин перебил в годы "Великой чистки", то просто чудо, что он уцелел, и его всюду приглашали, чтобы из памяти народа не выветрились такие благообразные, с бородками, старички, совершившие в семнадцатом году то, о чем многие из них потом горько сожалели.

В документальном фильме Ф. Эрмлера "Перед судом истории" о судьбе монархиста В. Шульгина, вернувшегося в СССР, была такая сцена: Шульгин в Кремлевском дворце съездов встречается с Петровым, его ровесником, стоявшим по другую сторону баррикад во время революции. Два старика, проживших долгую нелегкую жизнь. Они рассматривают друг друга — Шульгин презрительно

и даже с некоторой брезгливостью, Петров — с любопытством и даже радостно. Петров говорит: "Помните меня? Мы с вами столкнулись в Смольном... Я тогда стоял в карауле... Я красногвардейцем был тогда." Шульгин отвечает равнодушно: "Не помню, простите." И уходит. Такая психологическая несовместимость. Сцена была несрепетированной, спонтанной, это было видно, и потому запомнилась мне.

А может, это вовсе не Петров на фотографии, а другой старичок...

Дальше — Анастас Микоян. Что хотите со мной делайте, а этот человек вызывает у меня восхищение! Ну подумайте сами: работать со всеми вождями — от Ленина до Брежнева, пережить все расправы и чистки, все заговоры и мятежи — и умереть дома, в своей постели! Пока что — это единственный советский сановник, ни разу не снятый с работы и похороненный с подобающими его положению почестями. Каким умом надо было обладать, чтобы выжить в сталинские годы! Чтобы потом переметнуться от старых товарищей — Молотова, Берию, Маленкова, Кагановича — к кому! — к какому-то выскочке Хрущеву, у которого ничего получиться и не может, потому что он в меньшинстве, потому что все члены Политбюро голосуют против разоблачения Сталина, ведь у всех рыло в пушку, а руки в крови... Какие трагические бессонные ночи, какая животная интуиция, какое удивительное понимание психологии партийных бонз! Кто первый сказал слово "культ личности"? Микоян. Верный сталинский нарком, опытнейший царедворец, канатоходец от политики. И сумел-таки сбалансировать, не упал в пропасть, куда свалились все его товарищи, сумел найти общий язык и с этими, новенькими. Ай да Микоян, ай да умница! Он, видимо, не был ни идеалистом, ни фанатиком, он был прагматик и жизнелюб. Он был единственным, кто вырос в Кремле и умер в Кремле. Кто еще может этим похвастаться? И кому еще так повезет на вершине советской пирамиды?

Маленький человечек в очках — П.Н. Поспелов. Бывший секретарь ЦК. Бывший кандидат в члены Президиума ЦК. Упал. Стал директором института Маркса-Энгельса-Ленина — ... (Есть вакансия на последнее имя в этом ряду. Кто желает?) Говорят, что писательница Мариэтта Шагинян именно ему принесла свое открытие, что дед Ленина со стороны матери был некто Бланк.

— Этого нам только нехватало! — в ужасе сказал Поспелов.

Он взял документ, принесенный Шагинян, и спрятал его в

сейф.

— Прячь, прячь, голубчик! — якобы сказала старая Шагинян, тогда ничего не боявшаяся. — У меня еще куча таких копий...

Позади него Борис Николевич Полевой, главный редактор журнала "Юность". Он человек веселый и полезный. Он умеет разговаривать с зарубежными либералами и за руку приводить их в стан "мира и социализма". Но не обходится без конфузов. Говард Фаст, бывший коммунист, вспоминает, что когда на Западе распространились слухи об убийстве еврейских писателей Сталиным сразу же после войны, он спросил у Полевого, правда ли это, и какова судьба его друзей Маркиша и Квитко? Полевой хлопнул Фаста по плечу и сказал: "Старик, не морочь голову! Я вчера видел Квитко, он мой сосед по дому. Он шел в издательство со своей новой книжкой. Как ты мог подумать такое!" А Квитко и все остальные к тому времени были замучены и расстреляны в застенках Лубянки! Фаст не может простить Полевому этой лжи. Но что было делать Полевому? Пойти вслед за Квитко? А с другой стороны, зачем Фасту задавать наивные вопросы? Какой ответ он надеялся получить?

Потом — единственная женщина в составе Политбюро — Екатерина Алексеевна Фурцева. На фоне равноправия женщин в России она — разительный пример того, что может быть, если раскрепощенная советская женщина побежит по коридорам власти. Фурцева достигла всего — хозяйка Москвы, секретарь ЦК, член Политбюро. А потом она упала. И стала простым министром культуры! А потом она умерла. Как, что, почему?

Рассказывают, ее погубил Большой театр. Конечно, это только слухи: мы ничего не знаем о личной жизни вождей, и страна обычно питается слухами. Как-то, говорят, позвонил Фурцевой директор-распорядитель Большого театра и сказал: "Екатерина Алексеевна, у нас сейчас идет списание старых декораций и реквизита. Жалко выбрасывать, там ведь хорошие вещи: ковры, занавески... Позвольте я отвезу списанные вещи на дачу вашей дочери. Она молодая, ей и такое будет хорошо. Не возражаете?"

Фурцева не возражала. Когда списанный реквизит разгрузили на даче, рабочий-грузчик рассердился и написал письмо в ЦК партии о том, что он, как член коммунистической партии, не может вытерпеть такого положения, что вполне пригодные и красивые



ковры вместо того, чтобы служить всему народу в целом, попадают на дачи дочек министров культуры, что его партийная совесть никак не может с этим согласиться. Что, видимо, только и надо было недоброжелателям Фурцевой, давно мечтавшим снять ее с работы. И Фурцева не выдержала и умерла. И на ее место назначили мужчину. А женщин в Политбюро больше не выбирали, потому как женщина должна знать свое место. В БСЭ всем живым и почившим в бозе членам Политбюро отводится место для фотографии, а бедную Фурцеву и в этом обошли, чем поставили ее в один ряд с троцкистами, бухаринцами и зиновьевцами. Никак не могут ей простить ни дружбы с Хрущевым, ни этих паршивых списанных ковриков для дочки. А впрочем, может быть все было и не так. Кто знает больше напишет больше.

Суровый седой человек на первом плане — Климент Ефремович Ворошилов. “Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!” Первый маршал — Клим Ворошилов. Я был когда-то ворошиловским стрелком. В те времена значок “ворошиловского стрелка” был равен ордену “Дружба народов”, учрежденному совсем недавно и вручаемому тем, кто находит в себе силы дружить с другими народами. В недрах партии выращиваются ныне и такие кадры... Некоторые мне возразят, что, мол, не только Микоян прошел сквозь огонь, воду и медные трубы советской власти и умер в своей постели, но и Ворошилов тоже. Э, нет, — скажу я. — Это ведь чистая случайность, что Климент Ефремович не украсил своим именем “гнусную антипартийную группу” Молотова-Маленкова-Кагановича и (не будем этого забывать) примкнувшего к ним Шепилова. Он тоже был с ними. Но на следующий день опомнился, стоял на коленях перед Хрущевым и плакал, умоляя его простить и дать возможность умереть спокойно. И получил на то согласие.

Он одно время был даже Председателем Президиума Верховного Совета СССР, то есть президентом. И когда начались аресты писателей и поэтов, которых потом окрестили красивым заграничным словом “диссиденты”, то именно Ворошилову посылались письма интеллигентов, обладавших достаточной гражданской смелостью, чтобы заступиться за преследуемых. Эти письма затем направлялись компетентными органами по месту работы “подписантов” (так назывались на советском языке люди, подписавшие эти про-



шения), и их снимали с работы, исключали из партии и запрещали печатать их произведения. Тогда среди нас ходил такой стишок:

Климу Ворошилову письмо я написал.

А потом подумал и не подписал.

Теперь давайте нарушим монотонность нашего изложения и посмотрим на героев нашей фотографии с другого конца, справа налево.

Крайний справа — бывший второй секретарь ЦК, бывший член Политбюро тов. Кириченко. Не пытайтесь найти его имя в словарях и энциклопедиях. Кириленко есть, а Кириченко нет. Как слизали человека. Мистика какая-то. А ведь был вторым, после Никиты Сергеевича, человеком в государстве! Нельзя же себе представить, что Хрущев назначил вторым человеком призрак. Да и не похож тов. Кириченко на дух. Открытое партийно-хозяйственное лицо. В ладоши хлопает. Делает вид, что улыбается. Ума не приложу, куда же он запропастился? Может, кто знает? Очень буду признателен.

За ним стоит бывший молодой член Политбюро, бывший секретарь ЦК Д.С. Полянский. Теперь он посол в Японии. Как так? За что ж он-то полетел? Ведь не за развал же сельского хозяйства, за которое он отвечал? Да он и не виноват в развале. Ведь не мог же он распустить колхозы, чтобы наладить дело? За это его бы не в Японию, а в другое место послали. Так что же? Про него в наших кругах рассказывали следующие истории.

Однажды он вызвал, как говорят, к себе руководство Союза писателей. И сказал им: "Вот у меня на столе лежит рукопись настоящего произведения. Это лучшая книга о рабочем классе, которую я когда-либо читал. И мы дадим зеленую улицу этому произведению." Писательские начальники просто обалдели. Кто же этот неведомый гений, осчастлививший отечественную литературу своим невиданным творением? Тем более о рабочем классе, как того постоянно требовала партия? Все говорят: "Кто это, кто? Не томите, Дмитрий Степаныч!" Полянский говорит: "Это писатель Шевцов! И книга его называется "Во имя отца и сына". Все говорят: "Шевцов? Какой такой Шевцов?" Полянский говорит: "Выйдет книга, вот и узнаете". И книга вышла чудовищным тиражом в

издательстве, если не ошибаюсь, "Московский рабочий". Это было что-то невообразимое — смесь хулиганства, графоманства и черносотенства. Ее перевели на многие иностранные языки, чтобы показать, до какой низости может докатиться литература, если к ней прикасаются Полянские. Дошло до того, что мне разрешили написать открытое письмо Евг. Сазнова писателю Шевцову на 16-й странице "Литгазеты", где людовед и душелюб Сазонов поздравлял собрата по жанру с великим вкладом в литературу, оспаривавшим где-то вклад в нее же самого Сазонова. Полянский, якобы, получил взыскание за то, что влез не в свой огород и съел чужую брюкву. Но скандал с Шевцовым был большой.

Второй раз его имя всплывает в связи, как это ни странно, с Галичем. Сын писателя В. Дыховичного Ваня Дыховичный, артист театра на Таганке, женился на дочке Полянского. И ничего особенного, вожди, как и все, способны к размножению, и во многих случаях у них растут дети. И даже иногда вполне нормальные. Так вот Иван Дыховичный попал в семью вождя. И он привел домой своих друзей, актеров. Посидели, выпили, Высоцкий сыграл на гитаре, попели. Потом включили магнитофон и поставили Галича. И Дмитрий Степанович впервые услышал правду.

Тут в этом месте обычно говорят: "Да ладно тебе! Что он, раньше не слышал? Небось домой приходит после работы и ставит Галича, Высоцкого, Окуджаву. Ведь он — как мы: на работе один, а дома другой." Вот и нет! Я думаю, что он тогда первый раз это услышал. Потому что вожди слышат лишь то, что хотят слышать. Иначе они могут поколебаться. А колебаться им нельзя, если они хотят быть вождями. И вся информация, которую они получают от своих холуев, тоже тщательно отобрана, чтобы не попало хозяину что-то, что может ему не понравиться. И когда он услышал Галича, ему стало так страшно, что Галич вынужден был эмигрировать...

(Я снова хочу подчеркнуть, что истории эти ходили в нашем тесном писательско-журналистском кругу в Москве, и я рассказываю их в надежде, что они помогут когда-нибудь разыскать истину).

Третья история связана с Аркадием Райкиным. Он поставил спектакль со вступительным фельетоном, который написал для него писатель и фельетонист Леонид Лиходеев. Это был очень сильный, как теперь говорят, "гражданственный" фельетон с обильными цитатами из Ленина, обличающими бюрократию, комчванство, нехват-

ки, недостатки, коррупцию, взяточничество. И вы знаете, как замечательный Райкин мог произнести этот фельетон. Ленин на этот раз бил из своего далека прямо по нынешним соратникам. Полянский вызвал Райкина и сказал что-то похожее на то, что сказал Сталин Крупской: "Если вы будете себя так вести, то мы назначим Владимиру Ильичу другую вдову". И Райкин с тяжелым инфарктом попал в больницу.

Трудно, конечно, предположить, что Полянский "загремел" за эти свои деяния, но то, что его вмешательство в чужой сектор сыграло свою роль, можно себе представить.

Дальше стоит юноша в очках, которого я не знаю, какой-то "искусствовед в штатском"...

А потом идет тов. Мухитдинов, член Политбюро, бывший, разумеется, с именем которого у меня связаны самые теплые воспоминания.

В те годы на улицах висели портреты вождей. И все знали кто есть кто. Вот Сталин Иосиф Виссарионович. А это Молотов Вячеслав Михайлович. И Лазарь Моисеевич. И Никита Сергеевич. И уж, конечно, Климент Ефремович. А это кто? И тут уж я бил без промаха. В моей памяти каким-то чудесным образом откладывались самые невероятные имена, недоступные обычному человеку. И я зарабатывал на этом большие деньги. Кто это?

- Пономаренко, — отвечал приятель.
- А как его зовут?
- ?!
- Спорим на трешку, что я знаю!
- Перестань!
- Спорим?
- Ну давай.
- Пантелеймон Кондратьевич. Давай трешку!

Я выучил наизусть имя Мухитдинова и даже провоцировал друзей. Я не знаю, как его называли товарищи по партии, может быть, они ему придумали более легкое по произношению имя, но я, указывая пальцем на портрет, безжалостно спрашивал:

- Кто это?
- Ну, какой-то там...
- А как его зовут?
- Ну кто же это может знать?



- Спорим на трешку.
- Не может быть, откуда ты знаешь?
- Нуритдин Акрамович! Давай трешку!

Так что с падением тов. Мухитдинова резко упали и мои доходы. Ведал он и Центросоюзом, и был послом в Сирии, а потом исчез. До свиданья, Нуритдин Акрамович!

Дальше стоит Никита Сергеевич Хрущев. Странное чувство охватывает меня, когда я смотрю на его лицо. Я не чувствую поднимающейся, как встарь, злобы к этому человеку, не чувствую презрения. Его идиотские выходки, его пьяная трескотня, его безграмотные выступления, его шапкозакидательство, — все это отошло куда-то, а осталось чувство, что все мы обязаны ему тем, что очутились в Америке. То есть, я чувствую к нему теперь нечто вроде благодарности. Попробую объяснить.

Я считаю, что когда-нибудь Эрнст Неизвестный создаст большой настоящий памятник Хрущеву, потому что этот жалкий, неграмотный и ничтожный правитель России погубил в душе народной образ Сталина. Двадцатый съезд! — вот что будет написано на памятнике Хрущеву.

Он выпустил на свободу миллионы узников сталинских лагерей. Он начал жилищное строительство в стране. Пусть эти дома называли "хрущобами", но вспомните, вспомните, как жили мы без них!

Он снова приоткрыл форточку в Европу. Где бы мы с вами были сейчас, не сделай он этого?

Он нашел в себе силы отступить во время кубинского кризиса. Что было бы с миром, не испугайся он тогда?

Читая сегодня его мемуары, по-русски, разумеется, потому что в английском потеряно все — нелогичность, безграмотность, чудовищное бескультурье, наивность, глупость, — видишь запоздалое его раскаяние, почти христианское, и что-то похожее на жалость колышется в душе моей. Да он, наверное, и сам не понимал, что сделал, когда произнес свою речь о Сталине, но ведь произнес же!

Сейчас, на этой фотографии, он скажет другую речь. Дурацкую. Будет браниться. Призовет к чему-то, чего и сам не понимает. Всем будет стыдно за него. Но он еще не знает, что обречен. Он не знает, что через год он превратится в жалкого пенсионера, на которого равнодушно будут газеть арбатские старички, выходящие на буль-



вар постучать в домино или перекинуться партией в шахматки от нечего делать. И исчезнет он наподобие кириченков, мухитдиновых, молотовых, бухариных и примкнувших к ним сабуровых и шепиловых. Но только он сделал 20-й съезд. И потому останется в моей и вашей памяти. В истории.

А то, что он утопил Венгрию в крови, губил искусство и литературу, фанфаронил, что же вы хотите, он ведь все-таки был коммунист!

Там вдали, за Хрущевым стоит Алексей Аджубей, зять Никиты.

Он был талантливый парень, был редактором "Комсомолки" и "Известий" и, что говорить, сделал их интересными. В советском, конечно, понимании. И быть бы ему и министром, и премьер-министром, да сняли Никиту. И тут же рухнул Аджубей. Правда, старый негиббемый сталинист Грибачев пожалел беднягу и при благословлении ЦК взял его к себе на работу в журнал "Советский Союз" на какую-то незначительную должность. Там Аджубей и стареет.

А кто это выглядывает из последних рядов из-за плеча Ворошилова? Кто это с такой радостью и любовью смотрит на Хрущева? Кто это аплодирует горячее всех "нашему дорогому Никите Сергеевичу"? Кто это такой чернобровый и симпатичный? Никогда не поверите! Ну-ка, ну-ка... Правильно, угадали! Это Леонид Ильич Брежнев. Ну кто бы мог подумать? Неужели он, так горячо аплодируя, вынашивает планы дворцового переворота? Тут какая-то ошибка...

А никакой ошибки нет. Вот почему последующие вожди уничтожают фотографии, связанные с царствованием предыдущего. Чтобы не возникало таких мыслей, чтобы не тревожить себе память. Вот почему столько раз переписывается история и учебники для детей.

Что же касается меня лично, то на всех вечеринках в компании американцев или в нашем эмигрантском кругу, я всегда произношу тост за президента Брежнева и президента Никсона. И когда все поднимают брови, я объясняю, что всегда благодарен этим двум людям: одному за то, что выпустил меня оттуда, а другому — за то, что впустил меня сюда.

1980 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### РАССКАЗЫ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА	7
ЛЕГЕНДА О БАДАЕВЕ	11
ДВОЙНИК	13
ОБРАЗ ВОЖДЯ	13
СЫН	14
ТАНЦЫ	14
ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ	14
А. М. ГОРЬКИЙ ПИШЕТ СТАТЬЮ	15
ШУТКА	15
ИНТЕРЕСНЫЙ ЧЕЛОВЕК	16
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК	17
ТОВАРИЩ СТАЛИН СМОТРИТ ФИЛЬМ "ЧАПАЕВ"	20
ПИСАТЕЛИ ТОВАРИЩА СТАЛИНА	21
ШОССЕ БЛИЗ ТРОПИНКИ	21
ТОВАРИЩ СТАЛИН И КОЛЛЕКТИВ	23
ДРАМА ДРАМАТУРГА	25
НАХОДКА В СЕЙФЕ	28
СУЛИКО	30
"БУРЯ"	33
ЕСТЬ ПРОРОКИ В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ!	34
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА	35

### РАССКАЗЫ О ДРУГИХ ТОВАРИЩАХ...

К ЗВЕЗДАМ	39
ФРЕСКИ В КЛИНУ	43

ОККУПАНТЫ!	48
ЕРЕВАН	51
СТИШОК О ДЕМОКРАТИИ	56
АГИТАТОР	59
ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО	64
ТАМАНЬ	69
ТАКОЕ ВОТ КИНО	76
ПРОЩАНИЕ С ГРУЗИЕЙ	В1
БОЛГАРСКИЙ ЭТЮД	85
НА СТАДИОНЕ	90
СЛУШАЙ, ПОМОГИ!	93
СОН В РУКУ	96

#### ФОТОГРАФИИ ИЗ АЛЬБОМА

СОСТРИП	105
ПОЭТ	105
ЦЫГАНСКИЙ РОМАНС	106
ВЕНА	107
ТЕЛЕВИЗОР	107
КТО "СТУЧИТ"?	109
"БЕРЕЗКА"	109
СЛУЧАЙ НА ОЗЕРЕ ИССЫК-КУЛЬ	111
БАТЫР	112
ДВЕРЬ	113
ЖЕНА ПЛАЧЕТ	114
ЦДЛ	115
ДВЕ ЭМИГРАЦИИ	115
КРАСНАЯ КАВАЛЕРИЯ	116
ИГРА	119
ПРИЕМ В КРЕМЛЕ	123



# ЭРМИТАЖ

**ЭРМИТАЖ – Publishers of New Russian Books**

2269 Shadowood, Ann Arbor MI 48104, USA. Tel (313) 971-2968

**В 1981 ГОДУ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТ:**

- Сергей АВЕРИНЦЕВ. РЕЛИГИЯ И ЛИТЕРАТУРА** 7.00  
Сборник статей ведущего представителя современной московской философской школы.
- Василий АКСЕНОВ. АРИСТОФАНИАНА С ЛЯГУШКАМИ** 11.50  
Полное собрание пьес. (В тв. об. 20.00)
- Диана ВИНЬКОВЕЦКАЯ, ИЛЮШИНЫ! РАЗГОВОРЫ** 6.50  
Психологические эссе, описывающие преломление в детском сознании самых сложных проблем — политики, морали, смерти, религии, секса.
- Георгий ВЛАДИМОВ, ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ** 9.00  
Самое крупное из опубликованных до сих пор (в 1969) произведений автора "Верного Руслана".
- Игорь ЕФИМОВ, МЕТАПОЛИТИКА** 7.00  
(Под псевдонимом А. Московит) (В тв. об. 14.00)  
Разработка философской систематизации мировой истории.
- Руфь ЗЕРНОВА, ЖЕНСКИЕ РАССКАЗЫ!** 7.50  
Первый прозаический сборник известной ленинградской писательницы, выпускаемый ею после выезда за границу.
- Леонид РЖЕВСКИЙ. БУНТ ПОДСОЛНЕЧНИКА** 8.50  
Новый роман, посвященный встрече второй и третьей волны русской эмиграции в Америке.
- Илья СУСЛОВ, РАССКАЗЫ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ И ДРУГИХ ТОВАРИЩАХ** 7.50  
Сборник рассказов популярного журналиста, "сменившего" редакцию "Литературной газеты" на редакцию журнала "Америка".
- Николай УЛЬЯНОВ, СКРИПТЫ** 7.00  
Сборник исторических статей, посвященных судьбам России.

При отправке заказа просьба добавлять 1.00 доллар на пересылку (независимо от количества заказываемых книг).